ISSN 0042-8779

БОЛЬШЕ ВЕКА ОСВЕЩАЕМ

ВОПРОСЫ ИСТОРИИ

ВОПРОСЫ ИСТОРИИ

8/2026

8

100 ЛЕТ СО ДНЯ ВЫХОДА ПЕРВОГО НОМЕРА ЖУРНАЛА 1926–2026

ВОПРОСЫ ИСТОРИИ

ВОПРОСЫ ИСТОРИИ

8
2026

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ
12+

Содержание

Статьи

Н.А. Кормин. И. Кант: мировое звучание эстетического 2
П.А. Искендеров. Албания во второй половине 1980-х гг.: робкое начало преобразований 22

Дипломатия в истории

А.В. Лубков, М.В. Новиков. Подписание советско-китайского торгового договора (16 июня 1939 г.) 46

Дискуссионные проблемы

А.В. Хренков. Битва при Адуа и русский Красный Крест в Эфиопии в 1896 г.: малоизвестные подробности 62

Люди. События. Факты

Е.Е. Юдин. Земельные владения богатейших российских аристократов в 1890–1914 гг.: площадь, размещение и динамика 70

У зарубежных коллег

Н. Джейчандран. Перемещения предметов и людей: следы истории, соединяющие миры Африки, Атлантики и Индийского океана 84
И. Якубец, Я. Штемберк. Изменения в сфере услуг на железнодорожных вокзалах на примере заведений общественного питания 108
М. Диавара. Реконструируя будущее: стать собственником авторских прав в Африке 126

Из истории культуры

Чжао Сяолинь. Становление индивидуального творческого стиля в китайской вокальной музыке XX в. 146

ВЫХОДИТ С 1926 ГОДА

ООО «ЖУРНАЛ «ВОПРОСЫ ИСТОРИИ»

МОСКВА

УДК 93/94
DOI: 10.31166/
VoprosyIstorii202608Statyi03
Статья поступила в редакцию 24.06.2026
Статья принята в печать 17.07.2026

И. Кант: мировое звучание эстетического

Н.А. Кормин

I. Kant: the global significance of aesthetics

N.A. Kormin

Аннотация. Статья посвящена эстетическим аспектам философии И. Канта. В центре внимания автора – проблемы трансцендентальной концептуализации мира в трудах немецкого философа. В статье также анализируются различные аспекты существования искусственного разума в трактовке И. Канта.

Ключевые слова: история философии, эстетика, разум, классическая немецкая философия, концептуализация мира.

Abstract. The article is devoted to the aesthetic aspects of I. Kant's philosophy. The author focuses on the problems of transcendental conceptualization of the world in the works of the German philosopher. The article also analyzes various aspects of the existence of the artistic mind in I. Kant's interpretation.

Key words: history of philosophy, aesthetics, mind, classical German philosophy, conceptualization of the world.

Кормин Николай Александрович – доктор философских наук, ведущий научный сотрудник Института философии РАН.
E-mail: n.kormin@yandex.ru.

Kormin Nikolay A. – PhD (Philosophy), leading researcher of the Institute of Philosophy of the RAS.
E-mail: n.kormin@yandex.ru.

Картина мира, написанная концептуальным мышлением в мировоззренческом стиле, имеет разнообразные типологии. Возможно, например, теоретическое мировоззрение, о котором говорит Гегель в своей эстетике. Оно выражает специфическое мироотношение, характерное для искусства [1]. В немецкой классике погружение в пространство возможностей такого миропонимания впервые осуществляет Иммануил Кант, философия которого мыслится как своего рода архитектурный проект для строительства мира, включающий концепцию эстетического как способа систематизации знаний о мире и представление о человеке как идеале красоты. И это при всем том, что наука не может пролить свет даже на архитектуру растений. Но как обосновывать данную концепцию, если исходить из установок, вытекавших из представлений о коперниканской революции, осуществленной Кантом? С одной стороны, здесь, казалось бы, не должно было возникнуть особых трудностей, поскольку эти установки предполагают рассмотрение мира как феномена человеческой чувственности, с которой неразрывно связано эстетическое. Но все становится гораздо сложнее, когда встает вопрос о самих принципах обоснования эстетического, красоты чувственного мира. Речь, разумеется, идет не о трансцендентальной эстетике первой «Критики», а о трансцендентальном аргументе в истории эстетики, выдвинутом Кантом.

Мир, в котором длится наша жизнь, является трудным предметом интеллектуальной интерпретации. Проблематичность и многоплановость такой интерпретации ясно осознается Кантом, у которого выстраивается достаточно сложное отношение и к религиозному воззрению на мир, и к его категориальным измерениям в философской традиции. Возведя историю мира на уровень концептуального анализа, Кант предпринимает прежде всего углубление знания о мире. В современных исследованиях ставится вопрос о существовании в кантовской «Критике чистого разума» нескольких конкурирующих между собой концепций мира, об их значении для философии последних столетий [2], прослеживается эволюция концепции мира от Канта до Деррида [3], выявляются структуры мира в кантовских категориях и дистинкциях [4]. Все это исследования разного уровня, но как бы мы ни относились к ним, они уже стали интеллектуальной реальностью, их можно развивать, следуя идее того, что Кант называл рискованным приключением разума.

Сама философия мыслится Кантом в качестве органона мудрости, либо, если иметь в виду ее эстетические структуры, – в качестве чего-то далекого от школьной премудрости, а именно в качестве проявления особенностей этого органа как дисциплины гениальности в сфере искусства (Фр. Шеллинг будет вообще рассматривать искусство даже в качестве органона самой философии), являющегося как бы самим миром, форма которого выражается, например, в архитектурном алфавите или в аналитике красоты. Ю.М. Лотман называл Данте архитектором, поскольку «вся “Божественная комедия” есть огромное архитектурное сооружение, конструкция универсума» [5]. Отношение между миром и искусством, красотой воспринимается

Кантом как символическое, это, говоря современным языком, суперпозиция состояний мира и сознания. В русской эстетике такое отношение иногда онтологизируется – Ф.М. Достоевский в художественной форме будет ставить вопрос о красоте как способе спасения мира. Это, конечно, явный троп, но вряд ли стоит занимать скептическую позицию по отношению к данному эстетическому аргументу. Правда, в современной отечественной философии подчас дает о себе знать стремление переосмыслить этот аргумент в трансцендентальном ключе.

Мир в философии Канта предстает как совершенная эстетическая целостность, при этом само совершенство относится к понятию всеединства. Эта целостность имеет форму, которая запечатлевает все на мировом холсте с помощью кисти и красок. «Природа – это зеркало, имеющее свой собственный цвет...» [6] Эстетика природы способствует развертыванию современного движения экологизма. По мере того как экологические проблемы становятся все более актуальными, подчеркивает в своем исследовании Гленн Парсонс, мы все больше ценим красоту природы. При этом автор не только анализирует этические последствия восприятия природной красоты, но и стремится философски сформулировать, в чем именно заключается своеобразие эстетических качеств природы [7].

Задача трансцендентальной концептуализации мира – изобразить в той или иной форме всю действительность. Важно только понять, каким образом возможно решить эту задачу. Подходы к такой концептуализации наметились уже у Декарта – этого, как называл его Гуссерль, гения-первоучредителя всей философии Нового времени, обосновавшего новую идею универсальной философии, ищущей свои предельные основания в субъективном мире и выражающей установки физикалистского рационализма; в его построениях проблема человеческого места в мире, проблема «“мировой вместимости” меня с моим “собственным” состоянием (“малым”, но никаким самым мощным и большим разумом не восполнимым и не заместимым), с уникальной и в то же время универсальной невербальной очевидностью того, что делается во мне самом и из меня “говорит” в терминах моего необходимого и неустранимого, хотя и случайного, существования в мысли» [8]. И не только в мысли, ведь сегмент случайности всегда присутствует в мире.

Существенные изменения в самом подходе к онтологии в рамках просвещенческого мировосприятия, для которого он отыскивает идею совершеннолетия сознания, позволили Канту создать теорию универсума, предполагающую разработку проекта «права на “полагание” бытия, которое на каждом новом уровне трансцендентальности приобретает иной характер. Канту удалось осуществить своего рода “декомпрессию” одномерного натуралистического мира и увидеть вместо этой унылой картины унитарной вселенной несколько онтологических измерений и соответствующих им познавательных способностей, вступающих в сложную креативную игру» [9]. Для Канта, правда, это не просто игра, а естественный порядок вещей, который он противопоставляет марионеточной игре. Но игра, а тем более творческая –

это ключевое понятие эстетики (включающее описание движения мира как игры), и это не просто некая интеллектуальная игра, а игра на поле действительности, совершающаяся в обход опасной местности натурализма, структур действия с надрывом и раздвоением естественных и духовных органов. Эстетическое находится в средоточии философского мышления, ведь сама «философия – одна из первых гармоний, звучащих в мире» [10], а она создает чисто эстетическое звучание. Одновременно гармония – один из первых эстетических актов сознания, обладающих духовно-чувственными свойствами. Именно в гармонии и свободе как таковых берет начало эстетическое мышление, ведь само «первое начало возможно только через свободу» [11], которая мыслится Кантом как абсолютная спонтанность действий.

Более того, свобода представляет собой не только особенность субъективного мира, носитель которого является определяющей причиной своих действий, но и настоящую универсалию, поскольку, как считает Кант, даже «условием природы как первопричины случайного является свобода» [12]. Но саму эстетику не следует превращать в нечто, замещающее философию, а критику чистого разума подменять художественной критикой разума, культурой подмена. Ведь «каждый, кто хочет оценить продукты чистого разума литературно, т.е. с точки зрения начитанности, предпринимает тщетный труд. Таким образом он может обеспечить себя предметами суждения. Только потому, что он не подверг критике свой собственный разум, его критика всегда глупа и не философична. В ней используются такие принципы, исследование которых, собственно, и является [ее] целью. Филодокс вместо философа» [13]. Другое дело, когда речь идет не о замещении, а об отношении философии и определенных эстетических категорий, например, той же гармонии. Ведь именно гармонией человек – этот, по Гердеру, компендий мира – производит понимание. Можно сказать, что гармония, как и вся структура эстетических установок, «выводится из особенных природных задатков человечества, из известных чувств и привычных наклонностей и даже, где возможно, из особенного направления, которое было бы свойственно человеческому разуму» [14] как пробному камню метафизики. А.Л. Доброхотов полагает, что понятие бытия, а следовательно, и бытие в природе, не фигурирует в аналитике красоты, тем не менее природное бытие в определенной форме присутствует в ней: мы существуем в мире, где нас, как подчеркивает Кант, окружает «изобилие (unzählige) вещей прекрасной природы» [15]. Правда, присутствующий здесь термин существовать (es gibt) следует, согласно Канту, брать не как предикат, а как субъект.

Эстетические интенции отсылают даже к такому уровню, который в каком-то смысле связан с вещью самой по себе, непознаваемой, но реально существующей, хотя сама проблема реальности в некоторых современных научных дисциплинах является достаточно спорной. Эстетическая область – область явлений (phaenomena), которую, исходя из кантовских установок, можно характеризовать как пограничье, но сведение явлений к вещи самой по себе с ее двухзначной трактовкой,

предполагающей и аффицирование чувственности как субъективного условия сознания, накладывало бы, как подчеркивал Кант, запрет на спасение свободы (если бы поступки человека были бы определениями человека не как явления, а как вещи самой по себе, то свободу нельзя было бы спасти [16]), а вне ее невозможно помыслить понятие искусства. Представление о спасении свободы ("die Freiheit <...> zu retten" [17]) возникает в «Феноменологии духа» Гегеля. В русской культуре идея спасения свободы приобретает политико-эстетический смысл в поэзии Пушкина. Эти смыслы в чем-то перекликаются с идеями, свойственными, например, и современной французской эстетике и культуре, в которой искусство рассматривается в контексте анализа структурного отношения между истиной и свободой. Характеризуя истину как таинственную, а свободу – как одновременно опасную и упоительную, Альбер Камю подчеркнет, что «мы должны безоговорочно принять на себя весь риск и все трудности свободы. Речь не о том, чтобы знать, удастся ли, стремясь к справедливости, сохранить свободу. Речь идет о понимании того факта, что, не обладая свободой, мы не создадим ничего, зато разом лишимся и будущей справедливости, и прежней красоты. Одна лишь свобода избавляет людей от разобщенности и рабства; она, и только она, воодушевляет миллионы одиноких сердец. И искусство, как свободная сущность <...> объединяет там, где тирания сеет ложь. Так что же удивительного в том, что оно – враг всем видам угнетения. И что удивительного, что именно художники и интеллектуалы становятся первыми жертвами современных тиранических режимов – и правых и левых? Тиранам ведь отлично известно, что произведение искусства таит в себе мощный освободительный заряд, который представляется тайной лишь тем, кто не верит в свободу» [18].

Но вернемся к кантовской концептуализации эстетических явлений. Она осуществляется в контексте рассмотрения одной из форм рефлектирующей способности суждения, связанной с целесообразностью в мире. Она не имманентна ни структурам природы, ни структурам суждения вкуса, хотя и открывает возможность для систематизации наших знаний о мире. В связи с этим Кант затрагивает и более широкий спектр вопросов, например, «как так получилось, что наша чувственность содержит в себе положения, в которых разум видит свои собственные основные понятия?» [19] Если бы мы знали способ перехода от вещи самой по себе к эстетическому явлению, то смогли бы понять, как возможны монтаж и методология творчества, связанная с прояснением эстетической целостности, классификации видов искусства, правил, структурирующих эстетическое пространство, понимание эстетической синергии. «Наш разум как бы видит вокруг себя пространство для познания вещей самих по себе, хотя он никогда не может иметь о них определенных понятий и не простирается дальше одних лишь явлений» [20]. Трансцендентализм ставит границы познанию и разуму, осуществляющему концептуализацию единства (оно, собственно, и является его формой), которое имеет различные меры:

«мера величия в самом себе – это всеединство, [мера] сравнительно данного единства» [21]. Границы разума проявляются и через его способность трансцендировать и дирижировать миром, через его принципы. Сегодня особую остроту приобретает вопрос о границах искусственного интеллекта: в философском сообществе ведутся дискуссии по поводу аргументов «за» и «против» создания умной машины, интеллект которой достигает человеческого уровня. В своей книге коллектив авторов (Эрик Дитрих, Крис Филдс, Джон П. Саллинс, Ван Хёвелн Брам и Робин Зебровски), рассматривая вопрос о когнитивной архитектуре, одновременно излагает историю «войн» вокруг искусственного интеллекта, выявляет последствия этих войн и «новые противоречия, которые могут возникнуть в будущем» [22].

В связи с этим особое внимание привлекает философия Канта, позволяющая приблизиться и к постановке более широких вопросов: что можно назвать искусственным разумом? способна ли эта форма разума быть нравственной? В некоторых работах ответ на них дается с точки зрения того, как современные дебаты по поводу искусственного интеллекта перекликаются с идеями Канта, чья философия становится призмой, через которую можно по-новому рассмотреть практические последствия искусственного интеллекта. Разрабатывая метафизику машин, Юк Хуэй в своей монографии Kant Machine стремится ответить на вопрос, «как мы можем понять искусственный интеллект в свете проблем, которые Кант ставил как перед рационализмом, так и перед эмпиризмом, и как пересмотр философии Канта может помочь нам лучше понять природу и ограничения <…> современных цифровых технологий» [23].

Кант устанавливает сложное отношение между миром и вещью самой по себе. От этого отношения отлична априорная связь познаваемого совершенства «творца мира с миром». Касаясь вопроса о невозможности физико-теологического доказательства бытия высшего существа, о положениях естественного разума, Кант полагает, что этот разум выводит внутреннюю возможность свободно действующей природы, «которая единственно и делает возможным все искусство» [24] из сверхчеловеческой способности. Умудренное своей собственной историей, искусство рождается в горниле испытаний новых (эстетических) модификаций априорности, понимания целого сквозь одно.

Не менее важно выяснить, чем является «человеческий разум в отношении произведения искусства» [25]. Перефразируя Канта, можно сказать, что разум может мыслить формы для произведений искусства, но не сами произведения искусства. Проходя через эти модификации, искусство, по сути, является влиятельным участником процесса интерпретации вещи самой по себе как человеческой души, в то же время при исполнении метафизического легато сохраняется способ воздействия вещи самой по себе на нашу чувственность в разных регистрах, благодаря чему искусство спасает свободу в мире, создает образ человека как цели самой по себе, приближает грядущее совершенство человека (само «совершенство – это то, что определяет ценность личности» [26]) и состояние социального перфекционизма. «Благодаря искусству и науке

мы достигли высокой ступени культуры. Мы чересчур цивилизованы в смысле всякой учтивости и вежливости в общении друг с другом. Но нам еще многого недостает, чтобы считать нас нравственно совершенными. В самом деле, идея моральности относится к культуре; однако применение этой идеи, которое сводится только к подобию нравственного в любви к чести и во внешней пристойности, составляет лишь цивилизацию. Но пока государства тратят все свои силы на достижение своих тщеславных и насильственных завоевательных целей и потому постоянно затрудняют медленную работу над внутренним совершенствованием образа мыслей своих граждан, лишая их даже всякого содействия в этом направлении, – нельзя ожидать какого-либо улучшения в сфере морали» [27], поскольку такое улучшение предполагает длительное самосовершенствование общества для социального воспитания. Признавая непознаваемость вещи самой по себе, аффицирующей чувственность, Кант полагает, что вопрос о таком аффицировании решается бесконечной творческой способностью человека не чисто эпистемологически, а на уровне, как подчеркивал В.А. Жучков, трактовки культурно-исторической деятельности.

«Кантовская философия была направлена прежде всего на уяснение и обнаружение данного обстоятельства, и именно поэтому она оказалась не только критикой догматически-умозрительного способа философствования, но и целостностью исследований природы чистого разума, просвещением разума, обращенным к человечеству, к его разуму и открывающим его способность к свободному творчеству как единственному источнику творимой им культуры и гаранту ее существования» [28], его способности к построению эстетики знания в истории, к развертыванию «контекста открытия» (Х. Райхенбах), наконец, к малообъяснимой формирующей способности – способности к тому, что Кант называет подобающей человечеству общительностью. Такое просвещение разума как раз и совершается в кантовской эстетике, но в ней следует учитывать те ограничения, которые накладываются на сам разум. Ведь «то, что мы познаем посредством разума, мы можем не всегда знать» [29], не можем знать его абсолютный личностный принцип, то есть Бога. Любой мыслящий человек имеет идею Бога в силу того, что «разум неизбежно сам создает себе объекты» [30], сами предметы мысли содержат в себе идею Бога, персонификацию Абсолюта, а также идею мира и свободно самоопределяющегося человека в мире. Следовательно, рациональное познание не всегда позволяет нам что-то знать эстетически, строить целостное понятие эстетического. Отсюда понятно, почему «впечатление эстетического часто делает [человека] слепым в отношении логического» [31].

Ситуация с осмыслением соотношения эстетики и теоретической философии Канта примерно такая же, как с осмыслением соотношения этики и теоретической философии. Касаясь вопроса о связи «Критики чистого разума» и «Критики практического разума», А.А. Гусейнов подчеркивает, что понимание последней «как прямого продолжения и завершения первой слабо акцентируется в общих отечественных очерках философии Канта и практически исчезает в специальных очерках его этики. Оторванный

от гносеологического базиса, нравственный закон повисает в воздухе: с одной стороны, теряется связь с ноуменальным миром свободы как его основанием, а с другой стороны, блокируются каналы, соединяющие добрую волю с практической волей эмпирических индивидов» [32]. Продуктивное исследование в эстетике не может осуществляться на пути применения только рефлексивной способности суждения, но требует интеграции критических подходов в теоретической и моральной философии. Кантовская эстетика становится, говоря современным языком, особенным интерфейсом между пространством чистого разума и пространством практического разума.

Правда, здесь сразу возникает другой вопрос, поставленный в современных исследованиях, вопрос о том, что является предметом самой философии – мир или мышление, всегда познающее что-то новое в мире или о мире и создающее другой мир. Но, прежде чем к нему перейти, затронем саму проблему новизны, инновации. Она уже давно занимает умы отечественных мыслителей. Выдвигая гипотезу для исследования проблемы возможности появления новых свойств системы, не выводимых из свойств ее элементов, Н.Н. Моисеев опирается на ряд эмпирических обобщений. Так, он приводит примеры, показывающие, «сколь непредсказуемыми могут оказаться свойства вещества, полученного объединением других веществ… Простейший из них – вода. Она, как известно, обладает аномальной зависимостью плотности от температуры. Но это свойство мы не можем (а может быть, и не умеем) выводить из свойств кислорода и водорода» [33]. Для Моисеева приведенный пример – а их неисчислимое множество – есть выражение алгоритма сборки и асимптотического анализа, появления новых эволюционных уровней – жизнь, человеческий мозг, коллективный интеллект. Но для понимания природы жизни и разумности необходимо вводить некоторый особый источник, который требует реализации многофакторного метода исследования. Что касается трактовки генезиса качественно новых атрибутов, то сегодня существует несколько форм концептуализации возникновения новых качеств (прежде всего, эмерджентность, синергичность). Но все они оказываются перед тайной зарождения жизни и мышления.

Если говорить о статусе разумного мышления как мировой силы, то следует попытаться разгадать другую тайну – тайну человеческого существования в мире. Как говорил Г.П. Щедровицкий, «мышление репрезентирует все целое. Все, что касается человеческой деятельности, человеческого духа, есть мысль. И поэтому занятие мышлением давало нам ту всеобщность и тот предельно широкий взгляд на существующее, на мир, какой только был возможен» [34]. Конечно, важно понять, что представляют собой акты мышления, но не менее важно выяснить, как оно возможно, что лежит в его основе. Кантовское решение этого вопроса предполагает, что в основе мышления, самой способности мыслить лежит сверхчувственный субстрат. Казалось бы, это достаточно простой вопрос, ведь мир дан нам посредством мышления со всеми его образцами, с создаваемыми им правилами (которые предполагают, что «многообразное в познании подводится под единство» [35])

и нормативными представлениями. При этом теоретическое мышление в своем истолковании мира неизбежно оказывается в положении витязя на распутье, и сделать судьбоносный выбор верного пути ему позволяют, казалось бы, малозначительные явления. К ним нередко относят «“голос совести”, довод “практического разума”, вес “прекрасной души” <…>. Как ни тих этот голос, как ни мало весит “прекрасная душа” на чаше судеб мира, но именно они оказываются решающими» [36].

Уникальный эстетический голос – этот «цвет красоты» – называют ключевым голосом, природа которого содействует выражению миропонимания. В самом искусстве можно усмотреть, используя выражение Леонардо да Винчи, «дыхание мира», но как теоретически прояснить этот тип дыхания, его ритм, его принципы? Ведь можно сказать, что эстетичность является «уникальной и бесчисленной как то, что называют настоящим. Уникальное – то, что не повторяется. Только то, что повторяется в своей тождественности, может обладать единством. Следовательно, уникальное не есть это единство, не обладает им. Уникальное в таком случае – это apeiron, безграничное…» [37] Эстетическое существует в границах неповторимого индивидуального опыта мысли, будучи проявлением творческой вспышки сознания, бесконечно озаряющей мудрость искусства.

После Канта и Шеллинга тематизация эстетического начинает осуществляться на других основаниях Гегелем уже в «Феноменологии духа», прежде всего при рассмотрении того, как сам дух в своем становлении предметным произведением определяется относительно самосознания. Именно на этой ступени процесс формообразования духа приводит к тому, что мастер становится не только духовным работником, но и художником. Переход от самосознания деятельности к действительному духу открывает перспективу художественной религии. Ее измерение задается нравственным и истинным смыслом, благодаря осуществлению которого дух вступает в эпоху абсолютного искусства; этот дух имеет «понятие свое так, чтобы понятие и созданное произведение искусства знали друг друга как одно и то же» [38]. Такое тождество понятия и произведения искусства как раз и лежит в основе эстетического.

Идея кажущейся простоты мира занимала многих мыслителей. На самом деле мир имеет довольно сложную структуру (мы сейчас отвлекаемся от его концептуального понимания – имеет ли он двойственное изображение, как у Платона, или какое-то иное, как, например, в философии Витгенштейна, где мир как таковой вообще совпадает со строением человеческого языка): объективный мир, деятельностный мир (практический мир, в котором реализована, как скажет Кант, необходимость законов действования человека), социальный мир, mundus intelligibilis, умопостигаемый мир, устроенный по «законам, по которым я вписываюсь в любой мир, а не только в этот или в чувственный мир, к какому бы устройству моей собственной и внешней природы или общества я ни принадлежал» [39]. Эти все усложняющиеся миры становятся предметом сознания, переживаются в нем; само сознание создает образы мира. Сознание как таковое – атрибут абсолютного проекта, на котором строится образ и подобие Бога,

а природа мыслится как выполнение творческого акта. Как писал К.Г. Юнг, «мир, в котором мы рождаемся, является грубым и жестоким, но одновременно наполненным священной красотой» [40]. Но сама эстетика концептуально связана с решением дискуссионного вопроса о том, имманентно или трансцендентно сознание человеку. Кантовская концептуализация сознания, если следовать современным исследованиям, относится к активной позиции разума, благодаря которой представления существуют в сознании или без сознания ("with" or "without" consciousness), она представляет собой структурированный процесс, включающий, согласно Б. Лонгенесс, прежде всего феноменальное сознание (примерно эквивалентное тому, что Кант называет внутренним чувством), затем, если воспользоваться выражением Неда Блока, сознание доступа (access consciousness) и, наконец, сознание от первого лица [41]. Сознательное представление «я мыслю» – есть не только некий внекогнитивный, внечувственный акт, совпадающий со спонтанностью синтеза многообразного, мыслимого в возможном созерцании. И именно через понятие спонтанности, произволения эстетическое встраивается в структуру высших познавательных способностей, в конфигурацию мышления. Ведь сам рассудок Кант представляет в качестве способности спонтанности, а разум – спонтанности в соответствии с законами. Спонтанность мышления (в отличие от апперцепции, через которую чувство многообразного дается в душе без спонтанности) вмещает и спонтанность понятий. Вместе с тем существует и все то, что выходит за рамки спонтанности в область мыслительных интенций, признаком которых обладает субъективная восприимчивость созерцания, благодаря чему при определенных условиях обрисовывается действительность самого человека в мире.

Спонтанность мышления формируется вместе с развитием различных видов практических структур, в рамках которых свобода объясняется как сознание произволения, спонтанности, «никакое влияние на произволение людей не в силах обуздать их свободу» [42]. Рассмотрение такого сознания предполагает корректное разведение модусов эстетического регистра. Его тембровый признак – творчество, созидание. Ведь само произволение есть способность действовать, которая сопряжена с осознанием активности для создания объекта. Так совершается переход от произволения к эстетическому состоянию. «Всякое определение произволения идет от представления о возможном поступке через чувство удовольствия или неудовольствия, от интереса к нему или его последствию к действию; здесь эстетическое состояние (аффицирования внутреннего чувства) есть или патологическое, или моральное чувство» [43]. Более того, в представлении Канта это эстетическое состояние порождает аналогию с искусством. «Если сноровку произволения, отвечающего, в противоположность природе, законам свободы, следовало бы назвать также искусством, то под ним должно бы подразумеваться такое искусство, которое делает систему свободы, подобную системе природы» [44]. Но это уже некое трансцендентное искусство.

Рефлексия эстетической способности суждения рассматривает свободу произволения так, что его предметом оказывается

цель. Сама эстетическая целесообразность обосновывает принцип способности суждения в ее свободе. А предмет свободного произволения, позволяющего начать событие спонтанно, – это сверхчувственный объект, причем этот предмет определяется по отношению к поступку для произведения целевого предмета. Кант лаконично констатирует, что непринужденность и изящность в самом действовании рождает эстетичность произволения. Через акт всестороннего произволения, надо думать, приобретается и эстетический факт, берущий на себя задачу филигранного оттачивания эстетических максим.

Спонтанность предполагает, что многообразное, охватываемое чистым созерцанием, было как-то прочитано, соткано из синтетических нитей. Специфическое состояние сознания – рефлексия в ее трансцендентальной форме – рассматривает топологию представлений в системе познавательных способностей. Сам теоретический макет строения мира выполнялся в архитектурном стиле рефлексивной позиции. «Конструирование мира оказалось зависимым от законов развертывания рефлексии» [45]. Абстрагируясь от предлагаемых им решений, подчеркнем, что сам мир, охватывающий широкую сферу возможного опыта, понят Кантом на новом уровне, но так, что он оказался едва ли не событием сознания. В критической философии он мыслится как динамическое целое, как целокупность синтеза явлений, который делают возможным условия чувственности, целокупность, обладающая единством в их существовании; кроме того, существует и понятие мира в трансцендентальном смысле как абсолютной целостности всех вещей. Идеи такой целостности приходят в соприкосновение с интегральным образом чувства, которое «дает не чистое рассудочное понятие in concreto, а только схему для его применения, и соответствующий этой схеме предмет имеется только в опыте (как продукте рассудка из материалов чувственности)» [46]. Поэтому так важно прояснить вопрос о природе самого схематизма. По мысли Канта, схематизм – самый каверзный вопрос во всей трансцендентальной философии. В современном кантоведении признается, что различные интерпретации схем – как синтезов или интуиций, как атрибутов воображения или рассудка, даже как чего-то совершенно непостижимого – отражают определенные этапы в развитии мысли самого Канта, а изменения в концепции схематизма отражают изменения в самой идее трансцендентальной философии. При этом некоторые исследователи считают, что проблема схематизма не находит у Канта приемлемого решения.

Схематизм соединяет оба «корня» человеческого познания – рассудок и чувственность, придавая познанию целостный облик. Познание сталкивается с объектом, который дается нам в созерцании и мыслится в понятии. И для произведения эпистемологической цельности необходимо создать на основе чистой спонтанной способности рассудка корневое плетение этих структур в соответствии с принципом синтетического единства сознания. «Тогда правило, примененное к восприятию (в котором вещи даются чувствам через ощущение), есть правило схематизма рассудочных понятий» [47]. Эта целостность важна для понимания эстетического подстраивания схематизма, апогеем которого является понимание прекрасного как символа нравственности. Для эстетики имеет

особое значение и проблема созерцания, без которого невозможно доказать объективацию или реальность понятий – в случае, если речь идет о доказательстве реальности категорий, мы имеем дело со схемами. При этом Кант указывает на две формы наглядного изображения: первая схематична, когда дискурсивному понятию придается априорное созерцание, вторая символична, когда под понятие разума «подводится такое созерцание, при коем образ действий, какой она наблюдает при схематизации, только по аналогии, т.е. согласуется с ним только по правилам этого образа действий, а не по самому созерцанию, стало быть, только по форме, а не по содержанию рефлексии» [48]. Строящийся на эстетических предпосылках (аналогия, воображение) трансцендентальный символизм является органом кантовской системы и ее соединительной тканью. Посредством аналогии способность суждения применяет понятие к предмету восприятия, рефлексируя при этом по поводу такой рецепции, но проводя ее уже относительно другого предмета. В результате возврата последнего к изначальной предметности и рождается его образ в переносном значении или символическое представление как «представление по одной только аналогии». Символ – это душевная расположенность к интуитивному построению незавершенного высказывания о мире и его интерпретации на уровне трансцендентальной рефлексии, связывающей чистые формы созерцания и рассудка, содержащей условия для сопоставления различных представлений. При этом осуществляется рефлексивное интендирование при развертывании горизонта созерцаемой предметности, рефлексивное перемещение ее в область понятий. Так появляется то, что Кант называет символическими гипотипозами. Трансцендентальное понимание символа приобретает у Канта не только эстетический, но и чисто метафизический смысл.

Предмета чувств касается метафизика по объекту, но не по своей форме, она доводит синтез до уровня, превосходящего всякий опыт, изменяющий мир; в отличие от мира, естественная природа понимается как некоторое существующее целое, предполагающее всепроникающую связь явлений благодаря внутреннему детерминизму. Вопрос в том, как возможна такая связь, как строится сознание мира, а это вопрос неоднозначный. Кант считал, что сознание раскрывает в человеке «глубину божественных задатков, которые вызывают в нем священный трепет перед величием и возвышенностью его истинного предназначения» [49]. В отечественной культуре выдающийся ученый, психолог и философ С.Л. Рубинштейн исходил из того, что, как подчеркивал академик А.А. Гусейнов в своем анализе его творчества, бытие и существование «не просто даны во взаимной целостности, но сама эта целостность обнаруживается в движении от существования к бытию (от явления к сущности). Не бытие стремится к обнаружению, воплощению в существовании, а существование в своих наличных формах, а еще больше в своих провалах, щелях открывает нам доступ к бытию. Вот почему базовой основой всей философской конструкции является не бытие, а мир во всей его полноте» [50]. Но как построить идею мира, обнаружить форму его мысленного постижения? Кант рассматривал идеи как понятия

разума, которые иногда называют мыслеформами, они не могут осуществить адекватную интерпретацию чувственной реальности. Значит ли это, что проблематично связывать идеи с эстетическим миром? Или существует какой-то другой принцип их связи, доступ к которой возможен, например, согласно эвристическому принципу объяснения мира или трансцендентальному принципу? «Раз мир есть сумма явлений, то должно иметь место их трансцендентальное, т.е. мыслимое только чистым разумом, основание» [51]. Мир – это все, что лежит в окрестности точки под названием вещь в себе, создателем которой является Бог. Но встроены ли в указанные трансцендентальные основания эстетические структуры?

Эвристика – этот извилистый путь постижения творческих предикатов – как раз и предполагает такой способ ее выражения, как олицетворение, троп, персонификация, в структурах которой человеческие качества придаются идеям. И «это божественно, что наша душа способна к идеям» [52]. Сами идеи рассматриваются Кантом именно в связи с этими выражениями. Представления об идее и правиле конкретизируются как, соответственно, архетип и образец, в отличие от них «analogon архетипа есть смысловой образ (тип), аналог образца есть подобие. Копия архетипа есть подражание, копия правила есть эксперимент» [53]. Все эти структуры – идея, правило, норма, аналогия, смысловой образ, архетип, подражание (мимесис), эксперимент – относятся к канонической интерпретации эстетики. Но достижимо ли абсолютное основание эстетического – этого пути творения, являющегося краеугольным камнем мироздания, которое, по Канту, конституирует материя с ее целесообразностью (в современной терминологии – телеономичностью) или причинностью по конечным причинам. В таком случае само обоснование приобретает черты проективности, даже всеобщей эстетической грамматики (Г. Пауль). Ведь «эстетические стандарты и критерии, способы обоснования мыслительных конструкций и рассуждений – релятивны к типу культуры, в которой они функционируют, и изменяются при переходе от одной культуры к другой. Тем не менее эти различия не носят глобального характера, они не идут “до конца”, не поглощают эти явления целиком. Некоторые структуры, по-видимому очень абстрактные, лежащие в основе всех этих явлений, оказываются общими, одинаковыми для всех культур и народов» [54].

Проблема обоснования эстетического заключается в способе мышления, в интерпретации трансцендентального субъекта, форм коллективного бессознательного, в «извилистой» методологии применения эстетического разума (сегодня встает проблема новой архитектуры искусственного интеллекта как «художника»). Согласно Канту, сам «метод делает все не так, как думали, но как должно думать» [55]. Но как должно думать эстетически, как объяснить, с чего начинается дисциплина гениальности? Трансцендентальная философия как автономия идей, согласно Канту, представляет собой метод философствования, отсылающий к перечню принципов возможности опыта. Ведь «все рассуждения о методе – это самое важное в науке. Метод является либо конститутивным и научным, либо диалектическим и “представляет

собой" простую манеру» [56]. Кант даже ставит вопрос о композиции методологического учения. Насколько распространены эти установки в пространстве эстетической теории, в пространстве искусства, которое возникает из того, что в философии называется зеркалом мира, то есть из познания, – искусства, призванного, по Канту, дать экспозицию истины в изображении своего объекта? Это, однако, означает, что никакой методологии изящного искусства быть не может. Раз так, то какой смысл ставить вопрос о методологическом замысле исследований в эстетике? Но проблема в том, что эстетический метод трансцендентализма может быть понят только в контексте кантовской концептуализации самого метода в первой «Критике». А. Феррарин развенчивает распространенное представление о Канте как о философе, который «отдельно писал об эпистемологии, этике, эстетике и естественной телеологии», показывая при этом, что «три "Критики" объединяет одна основополагающая тема: автономия и телеология разума, его сила и цели» [57]. Методология эстетического исследования вырастает из кантовской трансцендентальной антропологии, которая дополняет критический метод. Эстетика рассматривается Кантом в первой части «Критики способности суждения», решающей метакритические задачи философии, а значит, в ней реализуется идея критического метода как способа прояснения истины и достижения познанием непосредственной достоверности, которая может модализироваться и оправдываться в опыте творчества и искусства. Метод критического философствования «состоит в исследовании приемов самого разума, в расчленении общей человеческой способности познания и в исследовании того, как далеко могут простираться его границы» [58]. Но как выстраивается способ решения эстетической задачи, как возможна реализация идеального плана эстетической активности, учитывающая описываемые Кантом явления спонтанности, как отрефлексировать способ формирования эстетического произведения, наконец, благодаря чему, как говорят китайцы, силы инь и ян вступают в гармонию и все сущее тем самым образуется?

Эстетика не сравнима ни с чем другим, ни с теоретической философией, ни с этикой, ведь она выступает в качестве способа образного представления множества, мереологического инструментария исследования, идеи пластической рациональности. Исполнение произведения прокладывает путь эстетического исследования (кратчайший, извилистый или окольный путь), рефлексия над ним задает структуру эстетического метода. Поскольку сама телеология (в современной философии она трактуется как телеономизм), принадлежащая к способности суждения, «заключает в себе априорные принципы, она может и должна указать тот метод, с помощью которого надо судить о природе по принципу конечных причин; таким образом, ее учение о методе имеет по крайней мере негативное влияние на способ исследования теоретического естествознания, а также на отношение, которое естествознание может иметь к теологии – в рамках метафизики, в качестве ее пропедевтики» [59]. Но эти методологические установки внутренне связаны с культурно-исторической ситуацией, сложившейся в Западной Европе XVII–XVIII вв. Для духовной жизни

этой эпохи характерна утрата духовных ценностей, к тому же стал ощутим кризис западной ментальности. «Не имея святынь, человек в конце концов не может понять, для чего он живет, а потому не может разобраться с вопросом, кто он. Наступает расстройство целеполагания, а это пострашнее, чем не найти средств для достижения поставленных целей» [60]. Аналитика такого духовного состояния проясняет интерес Канта к постижению метафизического принципа мировой целесообразности, в ходе реализации которого начинают прорисовываться контуры его эстетики. Уже в привлекавшем Пифагора волшебстве цифр Кант усматривает присутствие как бы заведомо запрограммированной в них целесообразности, востребованной математическим мышлением. Идея Пифагора, «будучи примененной к небесным телам, породила учение о гармонии сфер» [61]. Открытие Пифагором числового соотношения тонов породило телеологию музыки и игровой формы, представление о небесной гармонии (мировой музыке). Впоследствии В. Гейзенберг, характеризуя реальность, описываемую квантовой теорией, подчеркивал, что именно через математику обнаруживается эта реальность, ее глубинная эстетика: «у меня было ощущение, что я гляжу сквозь поверхность атомных явлений на лежащее глубоко под нею основание поразительной внутренней красоты, и <...> что я могу теперь проследить всю полноту математических структур, которые там, в глубине, развернула передо мной природа» [62].

Кант иногда называет критический метод промежуточным или переходным методом [Zwischenmethode], искусством исследования, списком с которого является положение о чувстве удовольствия как промежуточном звене между способностью познания и способностью желания, устраняющее разрыв между двумя частями философии; само удовольствие, делающее первые шаги на территорию эстетического, есть «представление о соответствии предмета или поступка с субъективными условиями жизни, т.е. со способностью причинности, которой обладает представление в отношении действительности его объекта (или определения сил субъекта к деятельности для того, чтобы создать его)» [63]. В то же время – это искусство исследования о промежуточных сосредоточениях самих эстетических установок, выявляющее опосредованные положения чистого учения о прекрасном, возвышенном и искусстве, и не только выявляющих, но и создающих такие опосредованности.

Анализируя шопенгауэровское представление об искусстве как идеальной завершенности и целостности мира, А.А. Чанышев отмечает, что сами «мировые события имеют значение “лишь постольку, поскольку они – буквы, по которым может быть прочитана идея человека”, а внутренняя значимость явлений – “это глубина прозрения в идею человечества”. Такое толкование снимало бы покров таинственности с идеальной сущности мира, если бы не одно обстоятельство. И чувство прекрасного, и чувство возвышенного свидетельствуют, что мир (природа) как бы провоцирует наше преображение (достигаемое в эстетическом созерцании чувство свободы от мира): ведь это событийный ряд самого мира приводит к высшей степени неслучайному

для нас, отвечающему нашей глубинной потребности результату, освобождению, и поэтому допустимо предположение о существовании промысла, устраивающего эти события ради нас, ради нашего совершенствования и, естественно, "устроителя", который стоит за всем этим» [64]. Познание самой идеи для Шопенгауэра равнозначно гениальному познанию, в котором эстетическая идея персонификации предлагается к размышлению.

У учителя Артура Шопенгауэра – Иммануила Канта – персонификация мыслится как эстетическая фигура философской речи, когда идее приписываются свойства реальности, как бы подразумевая под ней самого философа. Она является способом создания образов и связей между абстрактным и реальным, и вполне понятно, почему в русской философии Владимир Соловьев будет обсуждать вопрос об идее как живом существе. Персонификация есть проявление способности воображения, значение которого рассматривается в кортеже разума, само воображение своим свободным взлетом «по крайней мере оживляется и укрепляется, и всегда легче бывает сдержать его смелость, чем превозмочь его вялость» [65]. В этом полете воображение с его свободной закономерностью, с его идеалом красоты задает ритм и темп априорного познания, проявления настроенности ума, вступая в субъективную игру с разумом; оно решает задачу априорного синтеза, осуществляя аппрегензию формы предмета, соединяет многообразное в гештальте самой предметности. Эти формы непреднамеренно сравнивает рефлексивная способность суждения.

Кант развивает идущую от античности философскую концептуализацию воображения, элементы которой сказываются в осуществляемом им различении продуктивного и репродуктивного воображения, в трактовке его синтетической природы, его промежуточной способности между чувственностью и рассудком – первая априори связана с воображением посредством единства чистой апперцепции, второму воображение может соответствовать только посредством способности суждения. При этом он вводит понятие трансцендентального воображения, могущее воспроизводить предмет, даже если он не наблюдаем, благодаря ему становится достижимым родство явлений, фокусировка опыта. Современный исследователь Альфредо Феррарин даже утверждает, что «воображение – это не только бегство от реальности, но и способ понять, что реально, а что нет» [66]. Как созидательная способность, воображение всесильно в сотворении нового мира из элементов природы реальной, которую оно превосходит. Такого рода представления воображения Кант называет идеями, которые стремятся подступить к изображению понятий разума. В структуре идеального мира важнейшее место занимает эстетическая идея, имеющая обильный источник для телеологии, этой идее не может быть адекватно представление воображения, которое, как подчеркивает Кант, заставляет напряженно думать без того, чтобы ему могла быть соразмерна какая-либо конкретная мысль.

Поле эстетических идей описывается и принципом персонификации. В «Критике чистого разума» вопрос о персонификации

будет возникать в связи с представлением мирового понятия философии. Впоследствии персонификация приобретет новые оттенки. Так, Кант будет характеризовать добрый дух как «особую субстанцию – драму – персонификации» [67]. В статье «О вельможном тоне, недавно возникшем в философии» (1796) Кант связывает вопрос о персонификации с трактовкой морального закона, подчеркивая при этом, что «способ персонификации этого самого закона и превращение морально повелевающего разума в богиню Изиду <...> будет всего лишь эстетическим способом представления того же самого предмета, но которым можно пользоваться лишь после того, как с помощью первого будут выяснены принципы с тем, чтобы затем благодаря чувственным, основанным только на аналогии представлениям оживить эти самые идеи; с некоторой все же опасностью впасть в мистические грезы, что является смертью всякой философии» [68]. Персонификация морального закона внутренне связана с его предчувствием и концептуализацией, в чем Кант и усматривает дело философии.

Вся эта конфигурация позволяют эстетически передавать смысл, обосновывать такие фундаментальные структуры творческого мышления, как интуиция, метафора, символ. При этом «основной бас разума» (А. Шопенгауэр) исполнен в специфической форме – в форме мирового понятия философии и понятия философа архитектонического типа как образца. Ведь «философ рассуждает о том, что в каждом человеческом знании является чем-то независимым и что лежит в основе всего» [69]. Для раскрытия темы нашего исследования важное значение имеет трактовка соотношения понятия и чувственности. Сама трактовка в определенной мере дается уже в кантовском понятии трансцендентального синтеза чистой способности воображения, которое как бы через монограмму или принцип трансцендентального схематизма каким-то образом сочетает чистое рассудочное понятие с явлением, понятие с образом. Сколь бы далеко ни отстояли понятия от чувственного, «им все же присущи всегда образные представления, непосредственное назначение которых состоит в том, чтобы сделать их, невыводимых обыкновенно из опыта, применимыми к опыту» [70]. Но такая образность как размерность отношения понятийности и чувственности сразу выводит нас на проблематику эстетического мышления:

Душе высокой в помощь разум
Приходит, чтобы нас пленить
Умом и чистотою разом:
Что скажет – так тому и быть!

(Поль Верлен «Добрая песнь» II; пер. Ф. Сологуба)

Почти поэтический перевод смыслов «Критики чистого разума».

Эстетическое мышление как раз и увлекает, захватывает, пленяет и волнует мир, предстающий для него во всей его зримости, перцептивности, наглядности и потаенности. Но значит ли это, что структуры эстетического мышления вписываются в объем мирового понятия? Что касается философии как таковой, то по своему мировому понятию (dem Weltbegriffe) «она есть наука о целях

человеческого разума. Это высокое понятие сообщает философии достоинство, т.е. абсолютную ценность» [71]. Речь идет о развитии введенного в «Критике чистого разума» мирового понятия философии, о благородстве личности философа. Он становится типическим исследователем мудрости, воплощением «органона мудрости», включающего, согласно Канту, априорное знание о назначении человеческой природы и апостериорное понимание границ и целей наших способностей. «В метафизике основания познания должны быть априорными, хотя объекты [познания] апостериорны» [72]. И эстетическое – это всегда синтез высших способностей человека, синтез разума и опыта, но проблема в том, откуда происходит «настройка опыта разумом» [73] и как она возможна, скажем, в музыке. В современных исследованиях нередко обращаются к теме соотношения философии и музыки. Показывая, как философия музыки изменяет основные философские понятия, Симона Маренхольц усматривает общее свойство разнообразия музыкальных форм в эффекте изменения восприятия: часто тонком, подсознательном, а иногда и в экстатическом переживании трансформации себя и мира. Выходя на границы восприятия, музыка сближается с философией: «если музыкальное многообразие подвергает философию испытанию, то структурные изменения необходимы и в философии» [74]. Процесс преобразования философской системы, ее понятий и пропорций может затрагивать ее различные аспекты, включая и современное развитие кантовского мирового понятия философии, концептуализацию культуры разума, интенциональное предпочтение универсальной цели – всеобщего блаженства людей.

Моральное качество личности философа – это измерение ее в априорно-апостериорном метаязыке-органоне как раз и используется Кантом при разработке мирового понятия философии. Характеризуя кантовскую этику как часть судебно-аналитической феноменологии, «отвечающей на вопрос: в чем мы, даже при крайнем нашем нежелании, не можем тем не менее себе не признаться. Чем глубже каждый из людей погрузится в сознание своей ответственности и вины, тем яснее предстанет ему этическое единство рода людского, раздираемого конфликтами верований и нравов. При этом, как ни парадоксально, взаимопонимание будет поначалу достигаться не на уровне простейших нравственных содержаний, а на достаточно высоком уровне формальной этической культуры» [75]. Для достижения такого уровня культуры особое значение имеет многогранная концептуализация эстетического, которое возможно в силу того, что есть истина и есть, как сказано, душа самой истины.

Примечания

1. См.: ГЕГЕЛЬ Г.В.Ф. Лекции по эстетике: В 2 т. Т. 2. СПб. 2001, с. 330.
2. BARIŠIĆ P. The Concept of the World in Modern Philosophy. – Synthesis Philosophica. Zagreb. 2019. Vol. 34. No. 2, p. 395.
3. GASTON S. The Concept of World from Kant to Derrida. London–NY. 2013, p. 105.
4. См.: ВАСИЛЬЕВ В.В. Начала философии. М. 2026, с. 11–76.
5. ЛОТМАН Ю.М. Избранные статьи: В 3 т. Т. 1: Статьи по семиотике и типологии культуры. Таллин. 1992, с. 448.

6. KANT I. Akademieausgabe von Immanuel Kants Gesammelten Werken / z. Hd. B. Schröder: Bd. 1–23. Bd. 18. Bonn. 2008, S. 485.
7. См.: PARSONS G. Freedom and Objectivity in the Aesthetic Appreciation of Nature. — British Journal of Aesthetics. 2006. Vol. 46 (1), p. 17–37; IBID. Natural Functions and the Aesthetic Appreciation of Inorganic Nature. — Ibid. 2004. Vol. 44, p. 44–56; IBID. Review of Budd's The Aesthetic Appreciation of Nature. — Mind. 2004. Vol. 113, p. 741–744, etc.
8. МАМАРДАШВИЛИ М.К. Картезианские размышления (январь 1981 г.) М. 1993, с. 178.
9. ДОБРОХОТОВ А.Л. Кант о бытии: трансфигурация темы. В кн.: Историко-философский ежегодник. М. 2005, с. 115–116.
10. МАМАРДАШВИЛИ М.К. Психологическая топология пути (М. Пруст. «В поисках утраченного времени»). М. 2014. Кн. XII.
11. KANT I. Op. cit. Bd. 17, S. 427.
12. Ibid., S. 608.
13. Ibid. Bd. 18, S. 89.
14. КАНТ И. Сочинения на немецком и русском языках. Т. 3. М. 1997, с. 157; KANT I. Op. cit. Bd. 5, S. 425.
15. KANT I. Op. cit. Bd. 5, S. 264.
16. КАНТ И. Ук. соч. Т. 3, с. 555; KANT I. Op. cit. Bd. 5, S. 101.
17. HEGEL G.W.F. Die Phänomenologie des Geistes. Bamberg—Würzburg. 1807, S. 39.
18. КАМЮ А. Бунтующий человек. Философия, политика, искусство. М. 1990, с. 374–375.
19. KANT I. Op. cit. Bd. 17, S. 580.
20. КАНТ И. Сочинения: В 6 т. Т. 4. Ч. 1. М. 1965, с. 175; KANT I. Op. cit. Bd. 4, S. 352.
21. KANT I. Op. cit. Bd. 18, S. 337.
22. DIETRICH E., FIELDS CH., SULLINS J.P., HEUVELN B. VAN, ZEBROWSKI R. Great Philosophical Objections to Artificial Intelligence: The History and Legacy of the AI Wars. — Teaching Philosophy. 2023. Vol. 46. No. 4, p. 579.
23. HUI Y. Kant Machine. Critical Philosophy after AI. London. 2026, p. 7.
24. КАНТ И. Сочинения на немецком и русском языках. Т. 2. Ч. 1. М. 2006, с. 805; KANT I. Op. cit. Bd. 3, S. 654.
25. KANT I. Op. cit. Bd. 4, S. 361.
26. Ibid. Bd. 17, S. 256.
27. КАНТ И. Собрание сочинений: В 8 т. Т. 8 М. 1994, с. 23; KANT I. Op. cit. Bd. 8, S. 26.
28. ЖУЧКОВ В.А. Понятие вещи в себе у Канта как условие спасения свободы. В кн.: Иммануил Кант: наследие и проект. М. 2007, с. 123.
29. КАНТ И. Венская логика. М. 2022, с. 311.
30. ЕГО ЖЕ. Из рукописного наследия (материалы к «Критике чистого разума», Opus postumum). М. 2000, с. 565.
31. ЕГО ЖЕ. Венская логика..., с. 358.
32. ГУСЕЙНОВ А.А. Кант навсегда. — Философский журнал. 2025. Т. 18. № 2, с. 5.
33. МОИСЕЕВ Н.Н. Проблема возникновения новых свойств. — Вопросы философии. 1992. № 11, с. 27.
34. ЩЕДРОВИЦКИЙ Г.П. Проблемы профессионализации и специализации методологии. В кн.: Московский методологический кружок: развитие идей и подходов. Из архива Г.П. Щедровицкого. Т. 8 (1). М. 2004, с. 317.
35. KANT I. Op. cit. Bd. 17, S. 735.
36. ИЛЬЕНКОВ Э.В. Собрание сочинений. Т. 3. М. 2024, с. 343.
37. ДЕРРИДА Ж. Диссеминация. Екатеринбург. 2007, с. 460.
38. ГЕГЕЛЬ Г.В.Ф. Феноменология духа. М. 2018, с. 391.
39. KANT I. Op. cit. Bd. 18, S. 88.
40. ЮНГ К.Г. Воспоминания. Сновидения. Размышления. Минск. 2003, с. 347.
41. См.: LONGUENESSE B. Kant on Consciousness and its Limits. — Revue de Métaphysique et de Morale. 2023. Vol. 10, p. 7.
42. КАНТ И. Собрание сочинений: В 8 т. ... Т. 8, с. 196; KANT I. Op. cit. Bd. 8, S. 305.
43. КАНТ И. Сочинения на немецком и русском языках. Т. 5. Ч. 2. М. 2006, с. 65; KANT I. Op. cit. Bd. 6, S. 399.
44. КАНТ И. Сочинения на немецком и русском языках. Т. 5. Ч. 2, с. 53, 55; KANT I. Op. cit. Bd. 6, S. 218.
45. ЩЕДРОВИЦКИЙ Г.П. Мышление – Понимание – Рефлексия. М. 2005, с. 85.
46. КАНТ И. Сочинения: В 6 т. Т. 4. Ч. 1, с. 136; KANT I. Op. cit. Bd. 4, S. 316.

47. КАНТ И. Собрание сочинений: В 8 т. Т. 8, с. 543–544; KANT I. Op. cit. Bd. 11, S. 316.
48. КАНТ И. Сочинения на немецком и русском языках. Т. 4. М. 2001, с. 513; KANT I. Op. cit. Bd. 5, S. 351.
49. КАНТ И. Собрание сочинений: В 8 т. Т. 8, с. 173; KANT I. Op. cit. Bd. 8, S. 287.
50. ГУСЕЙНОВ А.А. Человек и мир (о философии Сергея Леонидовича Рубинштейна). — Вопросы философии. 2025. № 3, с. 150.
51. КАНТ И. Сочинения на немецком и русском языках… Т. 2, ч. 1, с. 885 (в перевод внесены незначительные изменения); KANT I. Op. cit. Bd. 3, S. 724.
52. KANT I. Op. cit. Bd. 18, S. 130.
53. Ibid., S. 51.
54. МАМЧУР Е.А. Образы науки в современной культуре. М. 2008, с. 344.
55. KANT I. Op. cit. Bd. 18, S. 29.
56. Ibid., S. 76.
57. FERRARIN A. A World Not of this World. The Reality of Images and Imagination. NY. 2025, p. 7.
58. КАНТ И. Собрание сочинений: В 8 т. Т. 8, с. 289; KANT I. Op. cit. Bd. 9, S. 32.
59. КАНТ И. Сочинения на немецком и русском языках… Т. 4, с. 665; KANT I. Op. cit. Bd. 5, S. 417.
60. СОЛОВЬЕВ Э.Ю. И. Кант: этический ответ на вызов эпохи секуляризации. — Историко-философский ежегодник. 2004 г. М. 2005, с. 214.
61. КАНТ И. Собрание сочинений: В 8 т. Т. 8, с. 229; KANT I. Op. cit. Bd. 8, S. 393.
62. ГЕЙЗЕНБЕРГ В. Физика и философия. Часть и целое. М. 1989, с. 190.
63. КАНТ И. Сочинения на немецком и русском языках… Т. 3, с. 297; KANT I. Op. cit. Bd. 5, S. 9.
64. ЧАНЫШЕВ А.А. Учение А. Шопенгауэра о мире, человеке и основе морали. В кн.: ШОПЕНГАУЭР А. Собрание сочинений: В 6 т. Т. 1: Мир как воля и представление. М. 1999, с. 463.
65. КАНТ И. Сочинения: В 6 т… Т. 4, ч. 1, с. 137; KANT I. Op. cit. Bd. 4, S. 317.
66. FERRARIN A. Op. cit., p. 8.
67. KANT I. Op. cit. Bd. 23, S. 447.
68. КАНТ И. Собрание сочинений: В 8 т. Т. 8, с. 244; KANT I. Op. cit. Bd. 8, S. 405.
69. KANT I. Op. cit. Bd. 18, S. 44.
70. КАНТ И. Собрание сочинений: В 8 т. Т. 8, с. 89; KANT I. Op. cit. Bd. 8, S. 133.
71. КАНТ И. Собрание сочинений: В 8 т. Т. 8, с. 279; KANT I. Op. cit. Bd. 9, S. 23.
72. KANT I. Op. cit. Bd. 17, S. 260.
73. Ibid., S. 401.
74. MAHRENHOLZ S. Musik und Begriff: How to Do Things with Music. In: Zeitschrift für Ästhetik und Allgemeine Kunstwissenschaft. Bd. 66 (2). Hamburg. 2021, S. 44.
75. СОЛОВЬЕВ Э.Ю. Ук. соч., с. 215.

УДК 93/94
DOI: 10.31166/
VoprosyIstorii202608StatyiO2
Статья поступила в редакцию 13.03.2026
Статья принята в печать 03.04.2026

Албания во второй половине 1980-х гг.: робкое начало преобразований

П.А. Искендеров

Albania in the second half of the 1980s: the timid beginning of transformations

P.A. Iskenderov

Аннотация. Статья посвящена развитию Албании в первые годы после смерти Э. Ходжи. Основное внимание уделено первым социально-экономическим и политическим преобразованиям нового руководства страны. Проанализированы также шаги Тираны по выходу из внешнеполитической изоляции.

Ключевые слова: Восточная Европа, Советский Союз, Албания, Энвер Ходжа, Рамиз Алия, внутренние преобразования, внешняя политика.

Abstract. The article is devoted to the development of Albania in the first years after the death of E. Hoxha. The author focuses on the first socio-economic and political transformations of the new leadership of the country. Tirana's steps to break out of its foreign policy isolation are also analyzed.

Key words: Eastern Europe, Soviet Union, Albania, Enver Hoxha, Ramiz Alia, internal transformations, foreign policy.

Искендеров Пётр Ахмедович – кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института славяноведения РАН, главный редактор журнала «Вопросы истории».
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-5914-7662.
E-mail: iskenderov.petr@yandex.ru.

Iskenderov Petr A. – PhD (History), senior researcher at the Institute for Slavic Studies of the Russian Academy of Sciences, editor-in-chief of "Voprosy Istorii" history journal.
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-5914-7662.
E-mail: iskenderov.petr@yandex.ru.

Смерть в 1985 г. Энвера Ходжи, бессменно возглавлявшего Албанию после Второй мировой войны, и приход на его место Рамиза Алии (он был избран первым секретарем ЦК АПТ (Албанская партия труда) на XI Пленуме ЦК АПТ в апреле того же года) первоначально воспринимались как подтверждение преемственности курса Албанской партии труда в построении социализма [1]. Алия представлялся многим не как потенциальный реформатор, а как победитель в подковерной борьбе за кресло первого секретаря; не случайно один из ключевых фигурантов этой борьбы, Мехмет Шеху, однажды назвал будущего нового лидера страны «албанским Яго», имея в виду мастерство хитроумных интриг, присущее одному из героев трагедии У. Шекспира «Отелло».

Кроме того, провозглашенная Энвером Ходжей практика опоры Албании в ее развитии преимущественно на собственные силы в определенной степени соответствовала настроениям, существовавшим в послевоенный период в других социалистических странах, лидеры которых призывали не переоценивать значимость внешней поддержки со стороны, прежде всего, Советского Союза. Наиболее последовательную позицию занимали лидер венгерских коммунистов Я. Кадар и его польский коллега М. Раковский. Оба «критически отзывались о представлениях тех в Советском Союзе и в других странах социалистического содружества, кто был готов на каждом шагу трубить о “гармонических отношениях”, выдвигать на передний план интернационалистские принципы “братского сотрудничества”, отодвигая вольно или невольно общедемократическое содержание этого сотрудничества, его национальную составляющую на второе или даже более незначительное место. “Какого бы доброго друга, какую бы крепкую опору ни имел тот или иной народ, – подчеркнул Кадар, – собственные национальные задачи вместо него не выполнит никто. Только если народ справится с ними должным образом, он сможет снискать уважение со стороны других стран. <…> Строя новое, социалистическое общество, каждый народ должен бдительно присматриваться к тому, что происходит вокруг него, должен учиться всему доброму и извлекать уроки из чужих ошибок, но основа, на которую он должен опираться, – историческое прошлое и национальные традиции своей родины, своеобразные экономические, политические, культурные особенности его родной страны”.

Из этих кадаровских слов видно, что на первое место он в качестве главы партии и страны ставил национально-государственные интересы Венгрии. Так же считал и Раковский как тогдашний лидер польских коммунистов» [2].

Следует также иметь в виду, что сам процесс прихода к власти в Албании коммунистов на завершающем этапе Второй мировой войны носил весьма противоречивый характер и не мог быть понят изолированно от определенных особенностей менталитета албанцев и традиций, исторически присущих албанскому обществу. Российская исследовательница Н.Д. Смирнова весьма образно охарактеризовала проблемы, возникавшие в этом плане у нее самой как у историка: «Дело в том, что применительно

к Албании некоторые основные признаки, характеризующие режим народной демократии или социалистическую революцию, отсутствовали. Да и сама "руководящая и ведущая" КПА (Коммунистическая партия Албании) была настолько молода и слаба, что любой думающий человек не мог реально представить себе, как ей удалось самостоятельно возглавить партизанское движение через полгода после образования и затем встать во главе государства, контролируя практически все рычаги власти. С особенной настойчивостью найти пресловутые признаки от меня требовали редакторы коллективных трудов. Изобрести их я не могла и тогда придумала такую спасительную, как мне казалось, схему: дескать КПА при братской помощи ВКП(б) / КПСС восприняла готовые формы организации власти (Советы), наполнив их затем социалистическим содержанием...» [3]

При этом сложившаяся в Албании после Второй мировой войны система не подпадала под определение режимов «народной демократии», сформировавшихся тогда же в других социалистических странах. Этот «новый тип общественно-политического строя, возникшего при активном содействии Москвы, отличался и от системы власти, существовавшей в СССР» [4]. Данная модель «характеризовалась наличием парламентской системы государственного устройства, базировавшейся на многопартийной основе и на широком союзе всех антифашистских коалиционных сил» [5]. Понятно, что в албанских условиях подобная коалиция отсутствовала (по причине развернувшейся в годы войны ожесточенной борьбы не только против иностранных оккупантов, но и в рядах местных военно-политических группировок), в результате чего сформировавшаяся общественно-политическая модель оказалась гораздо ближе к советской и югославской.

Так или иначе неуклонно ухудшавшееся социально-экономическое положение вынуждало партийно-государственное руководство Албании изыскивать новые экономические меры и инструменты. И смена первого лидера в стране явилась удобным поводом к тому, чтобы приступить к осторожному переосмыслению многих казавшихся незыблемыми принципов и устоев.

Уже на пленумах ЦК АПТ в декабре 1985 г. и марте 1986 г. прозвучали новые оценки. В частности, было впервые признано, что «трудности в народном хозяйстве имеют в основе внутренние причины, а не являются исключительно следствием "капиталистическо-ревизионистской блокады", как это утверждалось ранее» [6].

Главными из этих причин были названы «недооценка экономических стимулов поощрения производительности труда и, как следствие, сохранение уравниловки в зарплате для всех категорий тружеников. Назрел вопрос о необходимости изменить экономическое мышление кадров. Следствием застоя в экономической науке, в частности почти полное игнорирование проблемы ценообразования как регулятора производства, стало нерациональное, взятое, что называется, "с потолка" планирование развития народного хозяйства» [7].

Впрочем, одновременно с этим прозвучали и привычные мнения о необходимости «укрепления дисциплины и порядка

во всех звеньях хозяйственного аппарата и усиления различных форм контроля за его деятельностью», что в предыдущие десятилетия являлось верным предвестником очередных кадровых чисток [8].

В ноябре 1986 г. в Тиране прошел Девятый съезд АПТ – первый высший партийный форум после ухода из жизни Ходжи. В выступлениях нового первого секретаря ЦК АПТ Р. Алии и других докладчиков также прозвучали тезисы о необходимости обновления экономической политики – правда, в рамках прежних идеологических установок на укрепление диктатуры пролетариата.

Можно констатировать, что «съезд прошел под знаком преемственности политики, верности духу и букве учения Э. Ходжи. Не было подвергнуто сомнению ни одного принципа создававшейся долгие годы политической и социально-экономической системы. В области экономики подтверждались три основополагающие начала: опора главным образом на свои силы, запрещение иностранных кредитов, строго сбалансированная внешняя торговля» [9]. Последняя укладывалась в привычную формулу «без экспорта нет импорта».

Обычная, укреплявшаяся многие годы антиимпериалистическая и антиревизионистская риторика пронизывала все материалы съезда. На нем не было ничего такого, что выходило бы за рамки процессов, присущих албанскому варианту сложившейся административно-командной системы» [10].

Вместе с тем в докладах и решениях съезда прозвучали и новые моменты, включая критику (пусть и осторожную) слабостей и ошибок экономической политики АПТ. Партийный форум поставил на повестку дня задачу «поисков прагматических решений, открывавших перспективы улучшения условий жизни народа. В отчетном докладе Р. Алии «прозвучал призыв обратиться к “экономической логике”, т.е. к “более активному и сознательному использованию экономических категорий в целях обеспечения роста производительности труда, снижения расходов на производство”. Большее внимание предполагалось уделять материальному стимулированию производственной деятельности трудящихся. В области сельского хозяйства это выразилось в признании возможности, правда в очень осторожной форме, содержать на крестьянском подворье некоторое поголовье мелкого скота и птицу» [11].

Внешнеполитическая часть отчетного доклада первого секретаря ЦК АПТ также была построена на констатации необходимости сохранения «непримиримости к империалистическим и ревизионистским странам» [12]. Вместе с тем политические процессы, разворачивавшиеся в Европе, были охарактеризованы в докладе Р. Алии как «дружественные, демократические и миролюбивые стремления европейских народов» [13].

Так что вполне можно согласиться с выводом, что Девятый съезд АПТ «стал заметным явлением в развитии албанского общества, обозначившим определенный рубеж во внутренней и внешней политике страны» [14].

Именно во внешней политике сразу же после завершения работы Девятого съезда АПТ произошло знаковое событие, свидетельствовавшее о наступлении новой эпохи: 2 октября 1987 г.

было объявлено об установлении дипломатических отношений Албании с ФРГ, которую при Ходже именовали не иначе как фашистское и реваншистское государство. В конце октября Рамиз Алия в качестве Первого секретаря ЦК АПТ и Председателя Президиума Народного собрания НСРА провел переговоры с западногерманским министром иностранных дел Гансом Дитрихом Геншером. В опубликованном в Тиране коммюнике говорилось, что лидер Албании в «дружеской беседе» выразил надежду «на сближение и дружбу между двумя странами и народами». В совместном документе излагались основные принципы внешней политики Албании в современных условиях, свидетельствовавшие «о фактическом отказе от застарелых догм, от психологии "осажденной крепости", хотя преемственность политики Ходжи подчеркивалась при любом удобном случае. Албания, говорилось в коммюнике, "стоит за создание подлинной атмосферы доверия и дружбы между народами, а также за установление нормальных взаимовыгодных отношений со всеми государствами, уважающими принципы, на основе которых регулируются отношения между суверенными государствами"» [15].

К этому времени Албания поддерживала дипломатические отношения более чем со 100 государствами, а торговые – более чем с 50. Что касалось социалистических стран, то отношения с ними ограничивались «торговыми связями, осуществляемыми на основе соглашений о товарообороте и платежах на 1981–85 гг.» [16] В состав номенклатуры албанского экспорта входили нефть и нефтепродукты, железоникелевая и хромовая руды и их концентраты, черновая медь, сигареты, свежие и консервированные фрукты и овощи. При этом доля готовых изделий и полуфабрикатов в экспорте составляла около 70 %. В состав импорта входили машины и оборудование, транспортные средства, сельскохозяйственная техника [17]. Тирана также довольно активно участвовала в работе ряда международных организаций.

Однако проблема заключалась в строгой дозированности подобного сотрудничества; в целом же «общество продолжало оставаться закрытым» [18]. Именно поэтому установление отношений с ФРГ «свидетельствовало о снятии табу с одной из стран, с которой, по установившейся в пропаганде терминологии, "никогда-никогда не могли быть налажены какие-либо виды связей"» [19].

Вскоре из Министерства иностранных дел НСРА поступил новый осторожный сигнал, который свидетельствовал о намерении нового руководства Албании открыть страну перед балканскими соседями: Тирана заявила о намерении принять участие во встрече министров иностранных дел балканских государств, запланированном не где-нибудь, а во враждебном албанцам Белграде в феврале 1988 г. Албанская заявка была с энтузиазмом принята, и «с этого времени началось постепенное вхождение Албании в общеевропейский процесс» [20]. Этому способствовало и прекращенное в августе 1987 г. Албанией и Грецией 47-летнее состояние войны, давно ставшее анахронизмом европейской политики.

Во внутриэкономической политике Албании также были приняты важные решения, направленные на развитие материальных стимулов для наращивания производства, прежде всего, в промышленности. Среди них следует отметить датированные все тем же 1987 годом постановления Совета министров Албании «О стимулировании роста производства при помощи заработной платы», «О более правильном использовании дополнительных материальных стимулов и специальных фондов», «О критериях оценки финансово-экономической деятельности социальных предприятий». В их основе лежала необходимость использования экономических рычагов для стимулирования трудящихся в ключевых отраслях народного хозяйства Албании. Аналогичные тенденции, но более медленно, стали проявляться и в сельском хозяйстве.

А с февраля 1987 г. в официальной албанской пропаганде появились тезисы, показательно созвучные с набиравшей силу в это же время в Советском Союзе перестройкой. Руководство страны побуждало албанцев к развитию «прогрессивного нового мышления и новых революционных идей», противопоставляя их «бюрократическим проявлениям» и «инертности мышления» [21].

В административном и партийном аппарате стал постепенно проявляться процесс омоложения кадров. По результатам выборов в Народное собрание 1987 г. его состав обновился почти на 32 %, причем около половины депутатов составляли люди моложе 40 лет. В последующие полтора-два года эти процессы «начали набирать силу» [22].

Показательные перемены произошли и в сфере государственного планирования: произошел отказ от прежней практики приоритета развитию отраслей промышленности группы «А» (изготовление средств производства). Это произошло при утверждении планов на 1989 и 1990 гг. Они были скорректированы «в сторону поощрения промышленности, производящей товары народного потребления, при гарантировании стабильных цен на товары первой необходимости» [23].

Новые принципы оплаты труда были введены с 1989 г. в сельскохозяйственных кооперативах и госхозах. Были установлены дополнительные надбавки к оплате на трудодни за производство всей сверхплановой продукции в размере до 50 %. Одновременно бригадам, не выполнившим плановые задания вследствие неэффективного труда, вознаграждение снижалось на те же 50 %. Заработная плата руководящим работникам и ведущим специалистам также устанавливалась в зависимости от конечного результата.

В том же 1989 году был начат очередной, на сей раз явно рыночный, эксперимент в плане организации работы в аграрном секторе. Сельскохозяйственные кооперативы ряда районов Албании получили расширенную самостоятельность, а также право продавать на рынке произведенную сверх плана продукцию, за исключением зерновых и технических культур. А уже в следующем, 1990-м, году аналогичные принципы рыночного стимулирования были распространены на все сельскохозяйственные кооперативы Албании.

Противоречиво развивалась внутриполитическая ситуация – где позитивные сигналы чередовались со свидетельствами попыток Р. Алии и его окружения сохранить прежнюю систему. Новый министр внутренних дел Хекуран Исаи издал в 1987 г. приказ МВД, в котором перед ведомством была поставлена задача готовиться к силовому подавлению будущего «мятежа буржуазных и антисоциалистических групп, к которым примкнут криминальные элементы», причем в документе содержались ссылки на соответствующее указание Р. Алии [24]. Как подчеркивает венгерский албанист Д. Рети, «хотя человек, по имени которого была названа система, и умер в апреле 1985 г., однако его преемник, Рамиз Алия, следуя "указаниям учителя", еще в течение пяти лет придерживался ставших анахронизмом догматических принципов, которые отличали Албанию даже от других социалистических стран» [25].

В 1988 г. в Албании был казнен через повешение известный поэт-диссидент Хавзи Нела, причем приговор подписал лично Р. Алия как председатель Президиума Народного собрания [26]. Эта казнь стала последней в социалистической Албании.

Вместе с тем начиная с 1985 г. в стране значительно снизился масштаб политических репрессий. В 1986 и 1989 гг. были проведены частичные амнистии среди политзаключенных. Перестали преследоваться столь жестко, как при Ходже, дискуссии по вопросам культуры, а также отправление религиозных обрядов (хотя официальный запрет религии и церкви сохранялся).

В феврале 1987 г. – без ссылок на соответствующие процессы в СССР и других странах СЭВ – в официальном органе АПТ газете Zëri i popullit и других средствах массовой информации появились пространные материалы, призывавшие к «прогрессивному новому мышлению» [27].

Так постепенно, указывает Н.Д. Смирнова, «по инициативе сверху началось очищение системы организации народного хозяйства от воспринятых в 60–70-е годы волюнтаристских внеэкономических наслоений. Государственно-партийные структуры сохранялись в неизменности, но в их рамках и в строго регламентируемых пределах стала допускаться хозяйственная самостоятельность "низов" и даже критика среднего административного звена. Шло как бы обновление и совершенствование социалистических отношений. Слова *реформа* и *деформация социализма* еще не появились в политическом лексиконе албанских лидеров, считавших эту терминологию присущей исключительно восточноевропейским и советским ревизионистам. В Албании все еще продолжалась провозглашенная Э. Ходжей "революционизация всех сторон жизни"» [28].

Тем не менее информация из других социалистических стран, где набирали стремительные обороты сложные внутриполитические процессы, все более активно проникала в Албанию. В этом плане в «единой связке» шли события в Польше и Чехословакии, где оппозиционные, антикоммунистические силы явно брали пример друг с друга. Ведь, как пишет российская исследовательница О.Н. Майорова, вспоминая историю конца 1960-х – начала 1970-х гг., «события в соседней Чехословакии,

где по инициативе коммунистической партии развернулась борьба за демократизацию общественно-политического строя, оказали сильное воздействие на польскую молодежь, в среде которой лозунги Пражской весны стали пользоваться популярностью» [29].

А уже события в Польше, в свою очередь, оказали во многом определяющее влияние на общественно-политические настроения в других странах социалистического лагеря. «Ключевая страна советской сферы влияния – Польша – переживала системный сбой, который мог негативно сказаться на функционировании других компонентов той же системы социализма», – так охарактеризовал влияние забастовочного движения в Польше в 1980–1981 гг. российский исследователь А.С. Стыкалин [30].

Здесь следует отметить, что для Албании настало время пересматривать общую модель выстраивания взаимоотношений с социалистическими странами, которая сложилась еще в первые послевоенные годы. Ведь важным фактором укрепления внутриполитических позиций Энвера Ходжи выступало его умелое оппонирование многим военно-политическим акциям СССР и его союзников по социалистическому лагерю, в том числе в контексте вышеупомянутой игры на советско-югославских противоречиях. А.С. Стыкалин и Н.В. Бондарев обоснованно пишут о том, что «разрыв между советской и югославской компартиями» вызвал «большой шок» со стороны стран советской сферы влияния, «поскольку титовская Югославия после 1945 г. по праву воспринималась как страна, быстрее и успешнее других продвигавшаяся по пути построения основ социализма с опорой на советские образцы» [31].

При этом, если военную операцию СССР в Венгрии в 1956 г. албанский лидер поддержал, то интервенция войск Варшавского договора в Чехословакию в 1968 г. была встречена им совершенно иначе, тем более что речь шла о принципиально иной ситуации в рамках советского блока. А.С. Стыкалин напоминает, что «при всем сходстве первоначальных планов тактика, избранная официальной Москвой и ее союзниками в августе 1968 г., с самого начала принципиально отличалась от тактики, примененной в Венгрии в 1956 г., в решении другого важного вопроса. Осенью 1956 г. руководство СССР предпочло осуществить акцию собственными силами, отказавшись от использования союзнических армий. Однако в августе 1968 г. Москва изначально пыталась представить происходящее в Чехословакии как общее дело стран социалистического лагеря, а саму военную акцию – как проявление общей заботы о “спасении” социалистических завоеваний в одной из стран блока. Не случайно уже начиная с совещания 23 марта 1968 г., состоявшегося в Дрездене (ГДР), и вплоть до братиславской встречи начала августа положение в Чехословакии неоднократно обсуждалось на совместных заседаниях лидеров компартий стран Варшавского договора (наряду с албанцами, с начала 1960-х гг. дистанцировавшимися от СССР, на эти встречи не приглашались румыны, занимавшие особую позицию), и военная акция по вводу войск в Чехословакию была запланирована, осуществлена и декларирована именно как коллективная акция

пяти стран – союзниц по военно-политическому лагерю. Вместе с тем уже в самый момент ее осуществления было очевидно, что эта акция не получила, хотя и по разным причинам, полной поддержки даже тех стран, которые входили в ОВД (Организация Варшавского договора. — *П.И.*). Интервенция в Чехословакию была решительно осуждена Румынией; Албания, которая, впрочем, уже начиная с 1962 г. не принимала участия в работе ОВД, формально вышла из этой организации 5 сентября 1968 г., опасаясь, что ее пребывание в составе ОВД может дать повод для аналогичного военного вмешательства в дела страны со ссылкой на коллективную ответственность за положение в одном из государств блока» [32].

Есть основания говорить, что первые тайные проекты преодоления губительной для экономики Албании тактики «осажденной крепости» появились еще в конце 1970-х гг., и их инициатором был ближайший сподвижник Энвера Ходжи Мехмет Шеху. Последний «стал осознавать пагубность курса на тотальную самоизоляцию Албании и в личных беседах с Ходжей подчеркивал настоятельную необходимость для страны расширять связи с другими государствами, прежде всего в экономических целях» [33]. Однако дальше этих бесед дело не пошло, да и сам Шеху вскоре отошел в мир иной при весьма подозрительных обстоятельствах…

Следует также иметь в виду, что первые осторожные реформы, или, правильнее, корректировки генеральной линии партии в Албании, как и в других восточноевропейских странах, накладывались на другие не менее сложные внутренние процессы. Главный редактор журнала «Российская история» А.Н. Медушевский резонно замечает, что «одним из центральных факторов переходного периода стало совпадение процессов принятия демократических конституций и поиска национальной идентичности. В Западной Европе процесс образования национальных государств приходится на более ранний период и связан с эпохой абсолютизма XVI–XVIII вв. В Центральной и Восточной Европе период абсолютизма также означал консолидацию доминирующих наций, но не всех тех народов, которые были включены в империи на протяжении их исторического развития. В Восточной Европе (в отличие от Западной) данный процесс поиска национальной идентичности не завершился в XX в. и оказывал самостоятельное воздействие на саму суть переходных периодов практически во всех странах региона, где национализм набирал силу и вставала проблема самоопределения национальных меньшинств (распад Югославии в ходе конфликта на ряд национальных государств, мирное разделение Чехословакии на два государства, воссоединение ГДР с ФРГ на основе национальной общности, рост межнациональных конфликтов в Болгарии, Румынии, Венгрии и Прибалтике, развитие национализма в Польше). Именно в это время национализм вступает в конфликт с концепцией гражданского общества» [34].

Информация о преобразованиях в СССР и других социалистических странах проникала в Албанию и встречала во многом сочувственную реакцию среди населения. Летом 1988 г. в округе

Кавая возник первый независимый профсоюз. Он действовал нелегально, но сумел организовать несколько забастовок. В протестном движении начала активно участвовать молодежь, распространявшая в той же Кавае антикоммунистические сочинения, срывавшая портреты Ходжи и покрывавшая стены фабрик, заводов и учебных заведений антикоммунистическими граффити [35].

Илл. 1. Округ Кавая. Источник: https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Kj1595

В связи с этим возникает вполне закономерный вопрос: каково сочетание объективных и субъективных факторов в развернувшемся во второй половине 1980-х гг. в Албании постепенном процессе социально-экономических и общественно-политических изменений? Что сыграло определяющую роль: смерть Энвера Ходжи (а еще раньше – уход из жизни Мехмета Шеху) или нараставшие кризисные явления (прежде всего в экономике), сделавшие курс на реформы безальтернативным?

Как показывает опыт других восточноевропейских стран, роль личности в этом плане не стоит переоценивать: в Венгрии, Польше, Чехословакии реформы начались отнюдь не только и не столько по инициативе тогдашних партийно-государственных руководителей, а скорее под давлением общественного недовольства, которое развивалось в рамках формировавшихся новых, оппозиционных партийно-политических структур. А в Румынии и Югославии общественно-политическая ситуация просто вышла из-под контроля властей, приведя как к вооруженным

конфликтам, так и – в югославском случае – к полномасштабным этногражданским войнам.

В случае с Албанией середины 1980-х гг. никакой реальной структурированной оппозиции в стране не было: можно говорить лишь об определенных разногласиях среди членов Политбюро ЦК АПТ. Албанская модель скорее напоминает процесс реформ в СССР – который стал разворачиваться лишь после смерти очередного генерального секретаря ЦК КПСС (К.У. Черненко) и прихода к власти новой команды во главе с М.С. Горбачевым. На наш взгляд, несомненно, что, с одной стороны, именно смерть Ходжи открыла путь для начала преобразований. С другой стороны, влияние объективных социально-экономических факторов вынудило его преемника – изначально совершенно лояльного к существующей в стране системе Рамиза Алию – приступить к ее постепенному демонтажу. Отечественная исследовательница Э.Г. Задорожнюк следующим образом (весьма справедливо) характеризует сочетание объективных и субъективных факторов в охвативших в конце 1980-х гг. всю Восточную Европу революционных преобразованиях: «Не следует отрицать роль объективных детерминант революционных событий и их хода, однако нельзя не заметить, что нарративы играют все возрастающую роль в их организации. Этим определяется настоятельность мультидисциплинарного подхода к ним, контуры которого в настоящее время только формируются в рамках любой историографии» [36].

Кроме того, в Албании во второй половине 1980-х гг. (по причине политической монолитности общества, а также отсутствия соответствующих норм политической культуры) не было предпосылок для так называемых переговорных революций, захвативших тогда Польшу и другие социалистические страны. Речь идет о переговорах между властью и оппозицией, которые в случае Польши «привели к мирному демонтажу коммунистического режима в стране». Как напоминает О.Н. Майорова, «так наз. “переговорные” революции – одна из характерных черт проходивших в конце 1980-х годов событий в странах Центральной и Юго-Восточной Европы. Во многом по схеме польского проходили “круглые столы” и в других странах региона, правда, в гораздо более сжатые сроки и с меньшими по интенсивности столкновениями позиций» [37].

Не будет преувеличением сказать, что ключевым стимулом «дальнейшей и весьма существенной корректировки внешней и особенно внутренней политики Албании стали бурные события 1989 г. в Центральной и Юго-Восточной Европе. Правящие коммунистические партии столкнулись с одними и теми же проблемами, главная из которых состояла в том, как реформировать систему, не потеряв власти. Лихорадочные поиски путей выхода из кризиса привели в лучшем случае к добровольно-вынужденному отказу от руководящей роли при условии перераспределения властных функций между всеми политическими партиями и движениями, а в худшем – к полной потере политического веса и авторитета в стране и обществе, к расколу и даже к самороспуску. Расставание с казарменным социализмом проходило по-разному. Албания пошла по эволюционному пути» [38].

События 1989 г. в Восточной Европе, положившие конец сохранявшейся в государствах региона несколько послевоенных десятилетий власти коммунистов, вызвали у руководства Албании смешанные чувства, тем более что развитие ситуации в стране все больше напоминало сценарии других восточноевропейских государств. Как отмечали многие эксперты, «пример революций 1989 г. и особенно стремительное падение режима в Румынии (а еще конкретнее – вид изрешеченного пулями тела Николае Чаушеску) должны были сигнализировать албанскому руководству, что его выживание зависит от немедленного прекращения прежней политики международной изоляции и самодостаточности и публичной демонстрации желания осуществить реформы» [39]. Что было самым опасным – движущей силой разворачивающегося демократического движения в Албании выступала интеллигенция, которая с конца 1989 г. высказывала идеи, за которые еще пару лет назад была бы предана «партийной анафеме» [40].

Наибольшее внимание в Албании вызывало развитие ситуации в Польше. Первая информация о возникновении и деятельности независимого профсоюза «Солидарность» начала поступать по различным каналам в Албанию еще в первой половине 1970-х гг. Выдвижение польским профсоюзом требований «пересмотра ряда социально-экономических и политических догматов социалистической теории и практики неизбежно воспринималось партийно-государственным руководством Албании как “подрыв устоев” социализма. Однако ширившийся конфликт “Солидарности” не только с польскими властями, но и со стоявшим за ними Советским Союзом заставлял официальную Тирану воздерживаться от однозначно обличительного пафоса в отношении Леха Валенсы и его единомышленников. Данное движение представлялось внутренним делом Польши – страны, которую тогдашняя официальная албанская идеология относила к лагерю “ревизионистов”, – и не имеющим непосредственного отношения к теории и практике строительства социализма в Албании. Неудивительно, что официальные средства массовой информации тогдашней Албании не уделяли особого внимания развитию ситуации в Польше и воздерживались от проведения каких-либо опасных и двусмысленных параллелей с албанскими реалиями» [41].

Однако в 1989 г. ситуация в Восточной Европе коренным образом изменилась. Оперативно созванный в январе 1990 г. очередной Пленум ЦК АПТ констатировал, что народы восточноевропейских стран осуществили свои давнишние чаяния, сбросив ревизионистские режимы, однако этим воспользовались правые силы и поддерживающая их международная буржуазия. В принятой на форуме резолюции говорилось, что трудящиеся, к сожалению, выступили на стороне новых властей, ибо ошибочно связали господство ревизионизма, засилье бюрократических структур, состояние застоя в этих странах с социализмом, с идеологией марксизма-ленинизма. В документе подчеркивалось, что албанские коммунисты всегда сознательно боролись за то, чтобы народ понял опасность дискредитации социализма, его революционной

Илл. 2. Бастующие рабочие Гданьской судоверфи им. Ленина, август 1980 г. Автор: Zygmunt Błażek. URL: http://ecs.gda.pl/

идеологии и политики: «Но трагедия произошла. Мы болезненно ее переживаем, но не впадаем в отчаяние» [42].

На вопрос о возможности повторения восточноевропейских сценариев в Албании, в том числе в плане формирования многопартийной системы, Пленум ЦК АПТ дал отрицательный ответ: «Сохранение ведущей роли АПТ является основным условием продолжения социалистического строительства в Албании», а создание других политических партий «привело бы к ослаблению национального единства, к потере независимости и к уничтожению социализма» [43].

Отдавая себе отчет в том, что революционные общественно-политические перемены в Восточной Европе были вызваны в том числе неэффективностью устаревших социально-экономических механизмов и нараставшими кризисными явлениями в экономике, албанские коммунисты поспешили заверить народ в том, что как раз в Албании подобная угроза отсутствует. Январский Пленум охарактеризовал актуальное экономическое положение в стране как «вполне стабильное» [44].

В решениях партийного форума отмечалось, что созданный в стране экономический механизм, как утверждалось в решении, «гарантировал прогресс производительных сил, проложил путь к созданию и консолидации многоотраслевой структуры, гармонизировал экономические и социальные аспекты и поддержал развитие прогрессивных тенденций в стране», которая подошла к этапу интенсификации [45]. Однако «за этими общими фразами скрывался вполне конкретный невысокий уровень жизни народа. Три засушливых года углубили кризисное состояние экономики. Сохранялось рационирование мяса, сыра, растительного масла. В открытой торговле можно было встретить лишь лук

и стеклянные консервные банки с подозрительным содержимым. Пример Албании являлся еще одним подтверждением того феномена, присущего сталинской модели казарменного коммунизма, когда соблюдение идеологической "чистоты" неизменно сопровождалось "чистотой" прилавков» [46].

Как водится, важнейшую задачу обеспечения социально-экономического развития Пленум возложил на партийную пропаганду. Именно она должна была «добиться повышения производительности труда в целях реализации плановых заданий, особенно по экспортной продукции и по товарам первой необходимости» [47].

Главная задача в социально-экономической области была сформулирована предельно обтекаемо: экономическими методами следует обеспечить условия для более полного удовлетворения некоторых потребностей трудящихся. Однако предложенный хозяйственный механизм не оставлял сомнений в том, что в АПТ поняли важность введения новых экономических методов и инструментов: предусматривалось «дальнейшее материальное стимулирование производственной деятельности как предприятий в целом, так и отдельных работников» [48]. Другое дело, что намеченные преобразования предполагалось осуществить в рамках существовавшей практически в неизменном виде партийно-государственной системы, что объективно обрекало эти планы на неудачу. Впрочем, это было характерно и для СССР и других социалистических государств Восточной Европы. Как верно отмечает российский исследователь В.Л. Мусатов, «КПСС и компартии в социалистических странах оказались неготовыми к переменам, они закостенели, превратились в бюрократические структуры, оторвались от народа, отвыкли от дискуссий. При этом общая тенденция к расширению политического плюрализма вела к лишению компартий руководящей роли в обществе, ранее закрепленной в конституциях. Проведение в 1989–1990 гг. демократических выборов создало новую обстановку в странах соцсодружества. КПСС, которая при всех своих недостатках все-таки скрепляла каркас политической системы, после отмены 6-й статьи Конституции СССР была отодвинута от властных функций, ей пришлось зарегистрироваться и действовать как общественной организации, на что она в принципе оказалась неспособна. Аналогичные процессы происходили и в других странах» [49].

Однако значимость январского Пленума ЦК АПТ заключалась не только в разработке социально-экономической проблематики, но и в формулировании ключевых направлений реформирования внутриполитической системы, «застрявшей» еще во временах Энвера Ходжи. По сути, был сделан важный шаг по совершенствованию государственного механизма, а именно «признавалось необходимым строительство правового государства, в результате чего появились рекомендации по восстановлению министерства юстиции, по учреждению института адвокатуры, по пересмотру статуса местных судов и т.д. В мае сессия Народного кувенда приняла соответствующие решения. Претерпело значительные изменения существующее законодательство, а точнее уголовный и другие кодексы. По сообщениям печати, заметно сокращалось число статей (5 вместо 21), по которым

ранее выносились смертные приговоры. Сенсацией стало известие о предоставлении гражданам права на свободу вероисповедания. Наконец, была сформирована комиссия по пересмотру ряда устаревших статей конституции 1976 г., чем завершилась законодательная деятельность албанского парламента в первой половине 1990 г.» [50] Здесь можно согласиться с мнением российской исследовательницы И.С. Яжборовской о том, что в Албании (как и в Болгарии, Румынии и республиках бывшей Югославии) «партийно-государственная номенклатура, будучи вынуждена адаптироваться к изменению ситуации в регионе, провозгласила курс на преобразования и начала демонтаж прежней политической системы, ориентируясь на региональный процесс распада автократических политических структур» [51].

В связи с этим интересно упомянуть о состоявшемся в ЦК КПСС осенью 1989 г. обсуждении ситуации в социалистических странах Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы. Проводивший заседание секретарь ЦК В.М. Фалин «подчеркивал, что "нельзя сводить все к 'специфике' Польши или Венгрии. В кризисе – послевоенный порядок, нами насажденный... В кризисе – вся система отношений в 'социалистическом содружестве'. Нужно быть готовым к взрыву, хотя не совсем ясно, где рванет вначале"» [52]. При этом «во многих странах региона уровень структурных и макроэкономических диспропорций был ниже, чем в СССР, а либерально-рыночного сознания и гражданского общества – несколько выше, хотя и в разной степени. Интеллектуальные поиски выхода везде велись по-разному. В республиках СССР, странах СНГ, а также Албании, Болгарии, ГДР, Румынии и даже Чехословакии (где традиции демократического государственного строительства были весьма сильны, но подавление Пражской весны 1968 г. практически парализовало существовавшие элементы демократии, рыночной экономики и гражданского общества) они ограничивались малорезультативными поисками методов повышения эффективности системы. Политическое и социально-экономическое устройство оставалось практически нереформируемым. Правящие элиты этой группы стран ни идейно-теоретически, ни с точки зрения своих групповых интересов не были в состоянии принять концепцию его смены. Зато в упомянутых Фалиным странах с бóльшим уровнем либеральных свобод и элементов рынка – Польше и Венгрии – при наличии независимой теоретической мысли и критики ею устоев "реального социализма" постепенно стал набирать ход комплексный процесс системной трансформации» [53].

Еще одним фактором, оказывавшим влияние на «оживление» внутриполитической жизни в Албании, стали политические изменения в соседнем крае Косово, где набирало обороты движение местных албанцев за расширение автономии. В декабре 1989 г. свою программу обнародовала созданная косовскими албанцами во главе с будущим политическим косовским лидером Ибрагимом Руговой новая политическая партия – Демократическая лига Косово (ДЛК). Они пока еще не ставили вопрос о независимости Косово, но выступали за «полное равенство национальностей в Югославии». В экономической

сфере программа ДЛК носила новаторский по сравнению с реалиями в соседней Албании характер. В программе подчеркивалось, что партия «выступает за экономические и общественные реформы, нацеленные на максимально быстрый выход из кризиса и как можно более быстрое экономическое развитие страны. В этих целях ДЛК выступает за рыночную экономику, различные формы собственности, за современный рынок и за прекращение некомпетентного вмешательства политики в экономические вопросы (начиная с необоснованной структуры инвестиций и кончая подбором руководящих кадров в экономической сфере), которое до сих пор имело место и привело к пагубным последствиям» [54].

Илл. 3. Лидер Демократической лиги Косово Ибрагим Ругова. Источник: Office of the President of Kosovo. URL: http://www.president-ksgov.net/en/presidents-of-kosovo

Активизация политической деятельности албанцев Косово вынуждала Тирану менять свое представление о Югославии прежде всего как о субъекте геополитических игр СССР и США, которое господствовало во времена Э. Ходжи. Это было тем более очевидно, что указанная активизация резко контрастировала с предыдущими массовыми протестами косовских албанцев начала 1980-х гг., не имевших партийно-политического измерения. По сути, «до конца 70-х гг. наиболее характерными проявлениями конфликтной ситуации в Косово были в основном мирные манифестации, прежде всего студенческой молодежи и интеллигенции. Наиболее массовые из них – демонстрации албанцев в ноябре 1968 г. – их лозунгом было требование о превращении края в республику – и особенно в марте–апреле 1980 г.» [55]

Как справедливо напоминает российский исследователь Ар.А. Улунян, «особый акцент глава АПТ делал на определение характера послетитовского периода развития СФРЮ. В связи с этим он особо отмечал противоборство СССР и США за влияние на ситуацию в этой стране и попытки двух сверхдержав получить поддержку соответствующих кланов и групп в руководящих кругах Югославии. Готовность советской стороны оказать СФРЮ экономическую помощь, включая поставки вооружений, расценивались Ходжей как отвлекающий маневр, рассчитанный на достижение главной цели – получить контроль над Югославией. Возможность инициирования со стороны СССР и его ближайшего союзника в регионе – Болгарии – каких-либо действий внутриполитических сил СФРЮ, направленных на реализацию данного плана, вызывала резкое неприятие Ходжи. В не предназначенных для оглашения личных записях он писал, что в случае “если они (СССР и НРБ. — *Ар.У.*) спровоцируют пролитие крови, кровь вызовет кровь, и мы, албанцы, будем воевать с ними и победим. Почему открыто не сказать нашим братьям, народам Югославии: СССР и Болгария должны знать, что албанцы, живущие в Югославии, являются нашими братьями в Косово, Македонии, Черногории и они неприкосновенны. Сейчас они живут вместе с народами Югославии, но если кто-либо третий придет и захватит Югославию, будьте уверены – албанцы восстанут”. Использование “албанской карты” в момент советского военного вмешательства во внутриюгославские дела могло произойти в исключительном случае, что, судя по всему, понимал и Ходжа. Он считал, что СССР предпочтет более мягкий способ, так как Кремль учитывал опасность для себя военных действий в Югославии. Тема албанского национального меньшинства в СФРЮ в данном случае приобретала характер серьезного фактора, имеющего прямое отношение к оборонной политике ходжистского режима. Осенью 1976 г. глава АПТ обращался к этому вопросу и на международном уровне, во время бесед с иностранными политическими и общественными деятелями, приезжавшими в Албанию. Во время переговоров он упоминал о беседах с Й. Броз Тито в 1946 г., когда он говорил главе Коммунистической партии Югославии (КПЮ) о необходимости передачи Косово и ряда других мест с компактным проживанием албанцев в состав Албании» [56]. Впрочем, эти беседы сами по себе не несли реального смысла, представляя собой

дипломатические элементы более широкого геополитического торга. Ведь, как известно, независимо от своих форм, «главной функцией» дипломатии «является торг. Торг – средство преодоления различий в приоритетах участников отношений посредством обмена предложениями до достижения взаимоприемлемого решения» [57].

Сохранялась и общая напряженность в албано-югославских отношениях в послевоенный период. Особая роль коммунистов в освободительной борьбе во Второй мировой войне, с одной стороны, создавала основы для определенного «боевого братства» албанцев и многочисленных народов Югославии, но с другой – провоцировала взаимную ревность – особенно если учесть неприкрытое стремление югославского лидера Тито позиционировать себя, свою партию и страну как авангард антифашистской борьбы во всей Юго-Восточной Европе. Как указывает Т.В. Волокитина, в Албании (а также в соседней Югославии) «уже при переходе от войны к миру реальную власть сосредоточили в своих руках коммунисты. Этот факт стал объективным итогом деятельности компартий по организации движения Сопротивления, отразив их ведущую роль в национально-освободительной борьбе. Усилия других партий политического спектра придать власти неформальный коалиционный характер, запустить механизм согласительной демократии успехом не увенчались. Любые попытки на этом пути блокировались коммунистами и оказались кратковременными. В Югославии и Албании с самого начала политическая монополия компартий не имела никакой реальной демократической альтернативы. Широкий диапазон использования органов принуждения в политических целях и активный процесс сращивания компартии с государственными структурами четко определили вектор общественного развития как продвижение общества к левототалитарному режиму» [58].

В феврале 1990 г. в Албании была впервые официально обнародована информация относительно количества заключенных, в том числе по политическим статьям. Согласно публикации газеты Zëri i popullit со ссылкой на данные Министерства внутренних дел, в тюрьмах Албании на тот момент содержались 3 850 заключенных, включая 83 осужденных за попытки свержения правительства. Как написала по этому поводу советская газета «Известия», указанные цифры намного меньше, чем количество политзаключенных, называемое международными правозащитными организациями и албанскими эмигрантами, – до 40 тыс. чел. [59]

Однако речи о радикальных изменениях общественно-экономического строя в Албании тогда не шло. Согласно справедливой оценке Д. Рети, «следующие учению Энвера Ходжи руководители партии и правительства в то время еще полагали, что некоторыми косметическими мерами смогут спасти свою власть и сталинистскую систему» [60]. Характерный пример: весной 1990 г. в политическом дискурсе Албании развернулась оживленная дискуссия о границах, с которых в сельском хозяйстве начинается «реставрация капитализма». Большинство участников дискуссии пришли к выводу, что одна овца в личном подсобном хозяйстве албанского крестьянина – это еще не реставрация, а вот две – это уже она самая... [61]

Илл. 4. Одна овца – это еще не «реставрация капитализма». Источник: https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Aka

Более заметными стали подвижки – можно даже сказать, революционные изменения, происходившие во внешнеполитической сфере. На упомянутом выше январском Пленуме ЦК АПТ 1990 г. «в качестве первоочередной задачи внешней политики провозглашалось расширение взаимоотношений с соседями, а в отношении других стран – налаживание связей "с любым государством, которое отвечает дружбой на предлагаемую нами дружбу"» [62]. На X Пленуме ЦК АПТ 10 апреля 1990 г. лидер страны Рамиз Алия дал понять, что Албания начинает «процесс демократизации» и заинтересована в создании европейской безопасности, развитии экономического и политического сотрудничества с европейским сообществом. Собственно говоря, албанский лидер тем самым позиционировал свою страну в качестве важного игрока как на балканском, так и на общеевропейском пространстве. Ведь не будет преувеличением сказать, что «Балканы, благодаря своему географическому положению и историческому прошлому, культурному и религиозному многообразию, всегда фигурировали в европейских политических проектах. История региона богата примерами вступления стран региона в самые разные союзы. Мотивы подобных шагов диктовались как экономическими и идеологическими, так

и геополитическими факторами. Как бы ни стремились народы Балканского полуострова к самостоятельности, их судьбу в большинстве случаев определяли более сильные и влиятельные страны» [63].

Но что было еще более показательно в выступлении Р. Алии на партийном форуме в апреле 1990 г., так это его заявление о том, что в свете новых подходов к произошедшим на европейском континенте изменениям «на повестку дня встал вопрос о восстановлении отношений с США и Советским Союзом» [64].

В Москве и Вашингтоне на этот сигнал отреагировали позитивно. О готовности СССР восстановить отношения с Албанией министр иностранных дел Советского Союза Э.А. Шеварднадзе заявил в ходе встречи с главой внешнеполитического ведомства Китая Цянъ Цичженем в Москве 25 апреля 1990 г. Советский министр напомнил о негативном влиянии 25-летнего отчуждения между СССР и КНР на развитие международных отношений не только в Азии, но и во всем мире, и также привел в пример советско-албанские отношения. Шеварднадзе заявил, что Советский Союз не собирается снимать свою долю ответственности за то, что тогда произошло. Приветствуя заявления представителей албанского руководства, «он сказал, что Советский Союз готов к восстановлению и развитию дружественных отношений с Албанией на основе полного равенства, уважения суверенитета, независимости и территориальной целостности, невмешательства во внутренние дела друг друга и взаимной выгоды. Был положен конец вялотекущей дискуссии в околоправительственных кругах насчет того, кто более виноват в разрыве отношений в 1961 г. и нужно ли дистанцироваться от волюнтаризма Н.С. Хрущева, не уронит ли это авторитет СССР» [65].

Уже в июне–июле 1990 г. делегации министерств иностранных дел СССР и Албании провели две встречи – в Софии и Тиране, на которых была достигнута договоренность о нормализации двусторонних отношений. В августе в Москву прибыла албанская экономическая делегация во главе с заместителем министра внешней торговли Костандином Ходжей. По итогам двусторонних переговоров было подписано соглашение о возобновлении между двумя странами прямой (а не через третьи страны) торговли. Через месяц в Албанию прибыла группа советских экономических экспертов в целях оценки возможности налаживания производства на предприятиях, сооруженных с советской помощью в конце 1940-х – начале 1950-х гг. Они констатировали печальный факт: дешевле оказалось демонтировать объекты и затем строить на их месте новые. Впрочем, как указывает Н.Д. Смирнова, «выработанные в 1990 г. планы двустороннего экономического сотрудничества остались нереализованными ввиду разрушения системы связей на всем постсоветском пространстве» [66].

Что же касается работы посольств, то она возобновилась после 30-летнего перерыва в феврале 1991 г. в Тиране и в апреле 1991 г. в Москве.

Переговоры между делегациями Албании и США о восстановлении дипотношений прошли в конце августа 1990 г.,

а официальное подписание соответствующего протокола состоялось в марте 1991 г. в Нью-Йорке.

Процессы демократизации, происходившие в Албании, Югославии и других государствах Восточной Европы в рассматриваемый период, имели в качестве своей оборотной стороны и такие негативные процессы, как рост национализма. В частности, болгарская исследовательница М. Стамова напоминает, что «события конца 80-х – начала 90-х годов XX в., которые привели к падению коммунистических режимов в Юго-Восточной Европе, затронули и югославскую федерацию Иосипа Броз Тито. С распадом многонациональной федерации и созданием новых государственных образований в этой части Балкан, в том числе и Республики Македония, наряду со всеми осуществившимися важными политическими и общественно-экономическими изменениями, албанский национальный вопрос приобретает актуальность и интернациональный характер» [67].

Илл. 5. Хавьер Перес де Куэльяр. Источник: Rob Bogaerts / Anefo. Nationaal Archief: entry ad1b11f0-d0b4-102d-bcf8-003048976d84

В мае 1990 г. в Тирану впервые в истории прибыл действующий генсек ООН Хавьер Перес де Куэльяр. Он приветствовал выход Албании на общеевропейскую арену, но одновременно решительно потребовал от властей страны коренным образом улучшить положение с правами человека. На высокого гостя произвело гнетущее впечатление посещение одного из лагерей: «По предварительной договоренности, Перес де Куэльяр посетил места заключения, в частности и печально знаменитый лагерь в Бурреле. Он был шокирован увиденным, хотя администрация предварительно произвела элементарную санацию всей территории и помещений» [68].

К слову, именно в связи с визитом генсека ООН в Албании были освобождены некоторые из заключенных, осужденных в рамках процессов 1960-х – 1970-х гг. Однако Перес де Куэльяр, очевидно, имел в виду далеко не только это.

Важным шагом в обеспечении права на свободное перемещение стало решение правительства Албании разрешить гражданам страны с 1 июля 1990 г. беспрепятственно получать заграничный паспорт. Однако развитие ситуации в стране стремительно выходило из-под контроля, и многие албанцы отнюдь не были намерены ждать оформления вожделенного документа. Уже в первых числах июля тысячи жителей Албании бросились на штурм государственных границ и иностранных посольств в надежде поскорее обрести долгожданную свободу – пусть не в родной стране, но хотя бы за ее пределами…

Примечания

1. ИСКЕНДЕРОВ П.А. Энвер Ходжа: конец эпохи. — Вопросы истории. 2026. № 7, с. 54–55. DOI: 10.31166/VoprosyIstorii202607StatyiO1. EDN: GIRJJH.
2. НОВОПАШИН Ю.С. О судьбах социалистического эксперимента в Центральной и Юго-Восточной Европе. В кн.: Революции и реформы в странах Центральной и Юго-Восточной Европы: 20 лет спустя. М. 2011, с. 56–57.
3. СМИРНОВА Н.Д. История Албании в XX веке. М. 2003, с. 14–15.
4. ЖЕЛИЦКИ Б.Й. Венгрия новейших времен: Очерки политической истории 1944–1994 гг. М. 2017, с. 162.
5. Там же.
6. Краткая история Албании. М. 1992, с. 451.
7. СМИРНОВА Н.Д. Ук. соч., с. 351.
8. Краткая история Албании…, с. 451.
9. Там же, с. 452.
10. Там же.
11. СМИРНОВА Н.Д. Ук. соч., с. 351.
12. Краткая история Албании…, с. 452.
13. VICKERS M. The Albanians. London—NY. 1995, p. 211.
14. Краткая история Албании…, с. 451–452.
15. СМИРНОВА Н.Д. Ук. соч., с. 352.
16. Страны мира: Краткий политико-экономический справочник. М. 1985, с. 26.
17. Там же, с. 27.
18. Краткая история Албании…, с. 452.
19. Там же.
20. Там же, с. 453.
21. Там же.
22. СМИРНОВА Н.Д. Ук. соч., с. 354.
23. Там же.
24. URL: https://web.archive.org/web/20191019210452/http://jugunews.net/2018/10/04/ekskluzive-letra-e-hekuran-isait-ne-1987-ja-si-do-te-asgjesohet-elementi-armik-ne-rast-lufte/
25. URL: https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/4953/2/im-09-7-2010.pdf

26. URL: https://web.archive.org/web/20191029013610/http://illyriapress.com/25-vjet-nga-varja-ne-litar-poetit-havzi-nela-denuari-fundit-te-diktatures/
27. ИСКЕНДЕРОВ П.А. Эхо польской «Солидарности» в албанских горах. — Славяноведение. 2012. № 1, с. 36.
28. СМИРНОВА Н.Д. Ук. соч., с. 355.
29. МАЙОРОВА О.Н. К 50-летию мартовских событий 1968 г. в Польше. — Славянский мир в третьем тысячелетии. 2018. Вып. 13. № 1-2, с. 125. DOI: 10.31168/2412-6446.2018.1.2.09.
30. СТЫКАЛИН А.С. Польский кризис 1980–1981 гг. и ситуация в Румынии. В кн.: Славянский мир в третьем тысячелетии. К 1 150-летию славянской письменности. Кн. II. М. 2013, с. 7.
31. СТЫКАЛИН А.С., БОНДАРЕВ Н.В. «Замечается все большая и большая нервозность как в прессе, так и в официальных кругах…»: Положение в Югославии летом 1948 г. глазами румынского посла. — Славянский мир в третьем тысячелетии. 2025. Т. 20. № 1-2, с. 222. DOI: 10.31168/2412-6446.2025.20.1-2.12.
32. СТЫКАЛИН А.С. Пражская весна 1968 г. и разногласия в социалистическом лагере. — Там же. 2020. Т. 15. № 1-2, с. 91–92. DOI: 10.31168/2412-6446.2020.15.1-2.07.
33. ИСКЕНДЕРОВ П.А. Албания в 1970-е гг.: от процессов над «врагами» до устранения Мехмета Шеху. — Вопросы истории. 2026. № 5, с. 22. DOI: 10.31166/VoprosyIstorii202605StatyiO2. EDN: QBZMJW.
34. МЕДУШЕВСКИЙ А.Н. Переход к демократии и становление политических партий в странах Центральной и Восточной Европы. В кн.: Восточный блок и советско-венгерские отношения: 1945–1989 годы: Сб. статей. СПб. 2010, с. 185.
35. URL: https://telegrafi.com/26-marsi-1990-vullkani-qe-tronditi-komunizmin-ne-shqiperi/
36. ЗАДОРОЖНЮК Э.Г. Современные политические трансформации: славянский мир как зачинатель ненасильственных революций и их нарративы. В кн.: Славянский мир в третьем тысячелетии: межкультурный и межконфессиональный диалог славянских народов: Сб. статей. М. 2011, с. 15.
37. МАЙОРОВА О.Н. Польский «круглый стол»: 25 лет спустя. В кн.: Славянский мир в третьем тысячелетии: человек, общество, народ в истории, языке и культуре. М. 2014, с. 215.
38. СМИРНОВА Н.Д. Ук. соч., с. 355.
39. VICKERS M. Op. cit., p. 213.
40. BIBERAJ E. Albania at the Crossroads. — Problems of Communism. 1991. Sept.–Oct., p. 4.
41. ИСКЕНДЕРОВ П.А. Эхо польской «Солидарности» в албанских горах…, с. 34.
42. Цит. по: Краткая история Албании…, с. 454.
43. Там же.
44. Там же, с. 455.
45. Цит. по: СМИРНОВА Н.Д. Ук. соч., с. 356.
46. Там же.
47. Краткая история Албании…, с. 455.
48. Там же.
49. МУСАТОВ В.Л. Оппозиционные движения и протестные проявления в СССР и европейских социалистических странах в 1970-е – 1980-е гг.: Субъективные заметки. В кн.: Инакомыслие в условиях «реального социализма». Поиски новой государственности. Конец 60-х – 80-е гг. XX в. М. 2014, с. 49.
50. СМИРНОВА Н.Д. Ук. соч., с. 357.
51. ЯЖБОРОВСКАЯ И.С. Глобализация и опыт трансформации в странах Центрально- и Юго-Восточной Европы. М. 2008, с. 85.
52. Там же, с. 73.
53. Там же, с. 73–74.
54. Албанский фактор в развитии кризиса на территории бывшей Югославии: Док-ты. Т. 1: 1878–1997 гг. М. 2006, с. 200.
55. КАШУБА М.С. Конфликтная ситуация в Государственном сообществе Сербии и Черногории: Автономный край Косово и Метохия – прошлое и современность. В кн.: Меняющаяся Европа: проблемы этнокультурного взаимодействия. М. 2006, с. 330.
56. УЛУНЯН Ар.А. Тайна операции «прорыв». Как готовился Э. Ходжа к «хаосу после Тито». — Славяноведение. 2013. № 1, с. 44.
57. ДРОБОТ Г.А. Мировая политика как феномен глобального мира. М. 2010, с. 131.
58. ВОЛОКИТИНА Т.В. Геополитические итоги Второй мировой войны и фе-

номен народной демократии в Восточной Европе. В кн.: Славянский мир в третьем тысячелетии. Славянские народы: векторы взаимодействия в Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европе. М. 2010, с. 9.
59. Известия. 1990. 24 февраля.
60. URL: https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/4953/2/im-09-7-2010.pdf
61. Ibidem.
62. СМИРНОВА Н.Д. Ук. соч., с. 357.
63. РУДНЕВА И.В. Объединение с Европой – новый геополитический проект для Балкан – «про» и «контра». В кн.: Балканы в европейских политических проектах XIX–XXI вв.: Сб. статей. М. 2014, с. 481.
64. Цит. по: Краткая истории Албании..., с. 455.
65. СМИРНОВА Н.Д. Ук. соч., с. 358.
66. Там же.
67. СТАМОВА М. Албанский фактор в Республике Македония в последнее десятилетие XX в. – первое десятилетие XXI в. — Славянский мир в третьем тысячелетии. 2019. Т. 14. № 1-2, с. 93–94. DOI: 10.31168/2412-6446.2019.14.1-2.6.
68. СМИРНОВА Н.Д. Ук. соч., с. 359.

УДК 93/94
DOI: 10.31166/
VoprosyIstorii202608Statyi01
Статья поступила в редакцию 19.05.2026
Статья принята в печать 08.06.2026

Подписание советско-китайского торгового договора (16 июня 1939 г.)

А.В. Лубков, М.В. Новиков

Аннотация. В статье рассматривается переговорный процесс (1933–1939 гг.) по вопросу подписания советско-китайского торгового договора в рамках общего урегулирования межгосударственных отношений в 1930-е гг. Отмечается, что длительность переговоров была обусловлена как отсутствием каких-либо серьезных торгово-экономических интересов сторон вплоть до начала поставок советского оружия в Китай в 1937 г. и бартерных поставок в СССР китайских редкоземельных металлов и сельскохозяйственной продукции, так и попытками сторон включить (или не включить) в текст договора выгодные только для себя условия.

Ключевые слова: Советский Союз, Китайская Республика, межгосударственные отношения, торговый договор, переговорный процесс.

Лубков Алексей Владимирович – доктор исторических наук, профессор, академик Российской академии образования, ректор Московского педагогического государственного университета.
E-mail: a_lubkov@mail.ru;
Новиков Михаил Васильевич – доктор исторических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, заведующий кафедрой теории и методики профессионального образования Ярославского государственного педагогического университета им. К.Д. Ушинского.
E-mail: m.novikov@yspu.org.

Signing of the Soviet-Chinese trade agreement (June 16, 1939)

A.V. Lubkov, M.V. Novikov

Abstract. The article examines the negotiation process (1933–1939) on the signing of the Soviet-Chinese trade agreement as part of the general settlement of interstate relations in the 1930s. It is noted that this duration was due both to the absence of any serious trade and economic interests of the parties until the beginning of the supply of Soviet weapons to China in 1937 and barter supplies of Chinese rare earth metals and agricultural products to the USSR, as well as attempts by the parties to include (not include) in the text of the agreement favorable terms only for themselves.

Key words: Soviet Union, Republic of China, interstate relations, trade agreement, negotiation process.

Lubkov Aleksey V. – PhD (History), professor, academician of the Russian Academy of Education, rector of Moscow State Pedagogical University.
E-mail: a_lubkov@mail.ru;
Novikov Mikhail V. – PhD (History), professor, honored scientist of the Russian Federation, the head of the department of Theory and methodology of professional education of Yaroslavl State Pedagogical University named after K.D. Ushinsky.
E-mail: m.novikov@yspu.org.

Советско-китайское взаимодействие в 1922–1927 гг. имело стратегическую антиимпериалистическую направленность и отвечало интересам обеих стран. К сожалению, допущенные сторонами тактические ошибки в итоге привели к локальному военному конфликту в зоне Китайско-Восточной железной дороги (КВЖД) в 1929 г. и к разрыву дипломатических отношений [1]. Это ослабило позиции и Советского Союза, и Китайской Республики (КР) в Дальневосточном регионе, чем решила воспользоваться Япония, милитаристское руководство которой при поддержке зародившегося внутри армии фашистского движения приступило к реализации плана силового подчинения себе сначала Китая, а затем и других государств Тихоокеанского региона и Юго-Восточной Азии под демагогическим предлогом создания паназиатской сферы совместного процветания.

«Инцидент 1931.09.18», последовавшая за ним оккупация Японией трех Северо-Восточных провинций Китая и образование там марионеточного государства Маньчжоу-Го, враждебного и Китаю, и СССР, создали ситуацию необходимости восстановления нормальных межгосударственных отношений, несмотря на имевшиеся противоречия. Это хорошо понимали и в Москве, и в Нанкине. Поскольку инициатором разрыва отношений в 1929 г. была китайская сторона, предполагалось, что именно она должна сделать первые шаги по их восстановлению.

Советско-китайские дипломатические отношения были восстановлены 12 декабря 1932 г. Практически одновременно начался переговорный процесс о заключении пакта о ненападении, который был подписан 23 августа 1937 г. [2] Межгосударственные контакты о возможности сотрудничества в военной сфере начались в 1935 г. и завершились 14 сентября 1937 г. подписанием военного соглашения [3]. В том же 1935 году стартовал переговорный процесс об установлении авиационного сообщения между СССР и КР, в 1939 г. было подписано соглашение о создании совместного авиационного предприятия «Хами-ата» [4]. Реализация совместных проектов в области культуры привела к образованию в Китае в 1935 г. «Общества культурной связи с СССР» [5].

Полномасштабное оформление межгосударственных отношений предполагало и подписание договора в сфере торговли. В данном случае мы имеем в виду отношения СССР с китайским центральным правительством в Нанкине и не рассматриваем советские отношения с провинцией Синцзян, в 1930-х гг. лишь номинально являвшейся частью Китайской Республики.

Советско-китайский торговый договор, подписанный 16 июня 1939 г. и вступивший в силу после обмена ратификационными грамотами 16 марта 1940 г., являлся предметом изучения еще в советский период. Так, М.И. Сладковский в своей монографии справедливо подчеркивал, что «это был первый в новейшей истории равноправный для Китая договор, предусматривавший решение на правах взаимности всех вопросов торговой деятельности, мореходства и юрисдикции физических и юридических лиц обоих государств» [6].

Целью настоящей статьи является рассмотрение переговорного процесса о заключении советско-китайского торгового договора, начавшегося в 1933 г. и окончательно завершенного только в 1939 г., на основании контент-анализа соответствующих документов Политбюро ЦК ВКП(б), Народного комиссариата иностранных дел СССР (НКИД), Народного комиссариата внешней торговли СССР (НКВТ).

Советское посольство в Китайской Республике, возобновившее свою деятельность в 1933 г., и лично полпред Д.В. Богомолов очень много сделали для налаживания взаимодействия СССР и КР в политико-дипломатической и военной сферах, в областях культуры и коммуникации. Они также были сторонниками нормализации и институциализации межгосударственных торгово-экономических отношений.

Директива НКИД СССР от 28 апреля 1933 г. запрещала Богомолову вести переговоры с китайской стороной по вопросам торговли, объясняя это прерогативой будущего торгового представителя НКВТ. В директиве также высказывалось резко отрицательное отношение советской стороны к китайской идее введения специальной монополии внешней торговли по отношению к Советскому Союзу, что расценивалось как акт «враждебности против СССР» [7]. Возникшие на тот момент советско-китайские противоречия в вопросе о торговле были связаны с провинцией Синцзян, в силу географических особенностей лишь номинально являвшейся частью КР и имевшей прочные экономические связи и торговый договор с СССР от 1931 г. Заместитель наркома иностранных дел СССР Г.Я. Сокольников подчеркивал в письме к Богомолову: «…наши экономические интересы в Синцзяне очень значительны, и мы не имеем никаких оснований отказываться от укрепления экономических связей с Синцзяном…» [8] Сокольников инструктировал Богомолова, что ему «нет необходимости уклоняться от ответов на счет торгового договора с Синцзяном. Это договор не политический, а чисто торговый, заключенный с провинциальным правительством, имеющим довольно широкую автономию» [9]. Правительство КР, со своей стороны, не располагая достаточными ресурсами, тем не менее пыталось поставить под полный контроль деятельность своих удаленных провинций, включая Синцзян. Оно настаивало, чтобы все торговые договоры, включая импорт оружия, заключались только с разрешения центрального правительства в Нанкине либо посольств КР [10].

29 августа 1933 г. Богомолов, на которого оказывалось давление со стороны китайских деловых кругов в вопросе организации торговли, направил в НКИД тревожное письмо: «Мне не известно, по каким соображениям все время откладывается назначение торгпреда в Китай. Если это происходит только потому, что мы не хотим форсировать торговые переговоры с Китаем, то я думаю, что при китайских темпах и после приезда торгпреда в Китай всякие переговоры о торговом договоре можно было бы без труда затянуть на год, а может быть, и на два. С другой стороны, отсутствие торгпреда или хотя бы официального представителя НКВТ создает теперь, после установления дипломатических отношений с Китаем, большие трудности. Если до установления дипотношений было вполне нормальным, что мы продаем наши товары и покупаем китайские товары для СССР через отделения английской фирмы, то теперь это объяснение для китайских кругов делается совершенно непонятным…» [11]

30 января 1934 г. Д.В. Богомолов представил в НКИД доклад «Политическое и экономическое положение Китая в 1933 г.», в котором были отражены статистические данные и представлен анализ ситуации в сфере советско-китайской торговли. В докладе констатировалось существенное сокращение объемов импорта из Китая (в семь раз) и изменение баланса между экспортом

товаров в Китай (нефть, лес, рыба) и импорта из Китая (чай, вольфрамовая руда) как 4:1, что было связано с оккупацией Японией Маньчжурии [12]. Далее Богомолов проинформировал НКИД об итогах переговоров с китайским Минпромторгом по вопросу создания монополии для торговли с СССР. После нескольких демаршей, подчеркивал он, вопрос об этом больше «не поднимался и не дискутировался <...>, нам помогло также и то, что создание какого-либо комитета по контролю торговли с СССР противоречило интересам самих китайских купцов, и у них не было никакого желания идти добровольно на ограничение своей торговой деятельности» [13].

Отмечая наличие острой конкуренции с Японией на китайском рынке, Д.В. Богомолов настаивал на увеличении объемов экспорта и импорта традиционных российских и китайских товаров, на установлении регулярного пароходного сообщения между советскими дальневосточными и китайскими портами для транспортировки товаров, а также на назначении в Китай советского торгового представителя. Он подчеркивал, что китайские деловые круги «никак не могут понять, почему всю нашу торговлю с Китаем мы проводим через английскую фирму. Даже для закупки чаев Центросоюз нам не нужен, т.к. наши торговые организации могли бы получать те же самые кредиты непосредственно от китайских банков» [14]. Завершая свой доклад, Богомолов высказал предположение, что правительство Китая вряд ли будет в тех условиях «форсировать вопрос о торговом договоре» [15].

Незаинтересованность Китая в торговом договоре отмечается и в письме Богомолова народному комиссару иностранных дел СССР М.М. Литвинову от 25 июня 1934 г. «Пожалуй единственный вопрос, – пишет Богомолов, – в чем они могли бы быть заинтересованы – это взять под свою опеку наши торговые отношения с Синцзяном...» [16] Как видно из письма заместителя наркома иностранных дел СССР Б.С. Стомонякова, сменившего Сокольникова на восточном направлении НКИД, Богомолову от 9 июля 1934 г., советское правительство было совсем не против согласовывать с нанкинским правительством хозяйственные договоры между СССР и Синцзяном. Согласно указанию Стомонякова, Богомолов должен был «в самый решительной и категорической форме заверить Чан Кайши в том, что мы стремимся лишь к сохранению Синцзяна за Китаем и не хотим допустить, чтобы Синцзян стал формально или хотя бы фактически орудием в руках империалистических сил, одинаково враждебных СССР и Китаю» [17]. В тот же день Стомоняков другим письмом проинформировал Богомолова о предложении китайцев начать переговоры о торговом договоре и передал ему соответствующие распоряжения ничего не предпринимать до получения указаний из Москвы [18].

Указания из Москвы последовали через месяц. До Богомолова была доведена согласованная точка зрения НКИД и НКВТ на проблему советско-китайского торгового договора, согласно которой, переговоры считались целесообразными «лишь в том случае, если китайцы ставят вопрос о торговом договоре только под политическим углом зрения. В этом случае договор мог бы быть нам полезен, обеспечивая возможность проведения наших торговых операций с Китаем на более прочной, правовой базе без материальных жертв» [19].

Богомолов был также ознакомлен с позицией НКВТ по вопросу размещения торгового представительства СССР в Китае, согласно которой, торгпредство должно было находиться в Шанхае с отделением в Тяньцзине, а в столице – Нанкине – лишь уполномоченный торгпредства для связи с китайскими государственными структурами [20]. В тот же день, 8 августа 1934 г., Богомолов получил письмо от Стомонякова, в котором излагалась официальная позиция советского правительства относительно торгового договора: не проявлять заинтересованности, занять выжидательную позицию, «не поощрять Ван Цзинвэя вручать нам китайский проект торгового договора» под предлогом отсутствия соответствующих инструкций из Москвы [21].

7 сентября 1934 г. Богомолов отчитался перед НКИД о проделанной работе по вопросам торговли и торгового договора. Из его письма следовало, что МИД Китая и лично министр Ван Цзинвэй, исходя из своих японофильских позиций, выступали против особых экономических отношений провинции Синцзян и СССР, их целью была замена СССР на Японию, что представлялось абсолютно неприемлемым для Советского Союза как с экономической, так и с военно-стратегической точек зрения. В то же время по итогам бесед с Чан Кайши Богомолов пришел к выводу, что тот «под угрозой экономического и политического захвата Севера Китая японцами, по-видимому, не прочь найти кое-какие пути к тому, чтобы сговориться с нами о Синцзяне» [22].

Далее в своем письме Богомолов поделился соображениями относительно возможных переговоров о торговом договоре. Разделяя отрицательное отношение руководства СССР к идее таких переговоров с Китаем из-за особых экономических отношений СССР с Синцзяном, Богомолов считал маловероятным успех переговоров, так как «японофильский аппарат МИД может всегда на разных частных вопросах саботировать достижение соглашения <…>, а японцы примут все меры к срыву переговоров…» [23] В то же время Богомолов не исключал возможности, что правительство КР выступит инициатором начала переговоров о торговом договоре, и в этом случае «нам трудно будет отказаться их начать» [24], несмотря на то что в текст договора будут включены неприемлемые для советской стороны пункты о Синцзяне и китайской монополии торговли с СССР. Зная китайскую психологию, Богомолов предлагал «проявить максимум выдержки и не показывать какой-либо заинтересованности ни в торговых переговорах, ни в Синцзяне. <…> Китайцы по восточному обычаю <…> всякую инициативу, проявляемую нами в деле сближения с ними, склонны истолковывать как признание нашей большой заинтересованности и, отчасти, слабости» [25].

В письме также была представлена позиция Богомолова по вопросу создания в КР торгового представительства: «Я не согласен с установкой НКВТ на ненужность торгпреда в Китае. По условиям дела я считаю, что торгпред крайне нужен. Прежние формы нашей торговли с Китаем (Центросоюз) окончательно дискредитированы и кроме вреда нам ничего не приносят. Центросоюз, как юридическая организация, совершенно беззащитна и находится гораздо в худшем положении, чем любая иностранная или даже китайская фирма. Английский суд отказывается ее защищать на том основании, что она является английской только фиктивно, китайский суд отказывается ее защищать на том основании, что она официально является английской. <…> Я отнюдь

не за то, чтобы ликвидировать Центросоюз, – его нужно сохранить, но нужно создать такие формы, при которых эта организация нас не дискредитировала бы, а давала бы возможность работать» [26].

Позиция Богомолова по вопросу организации торговли с Китаем, представленная в его письме в НКИД, нашла свое развитие в «Предложениях по развитию отношений с Китаем», подготовленных советским полпредством 10 ноября 1934 г. Повторив свое негативное отношение к деятельности Центросоюза, полпредство в то же время выступило с предложением сохранения Центросоюза, «чтобы продолжать пользоваться английскими кооперативными кредитами», но предлагало сохранить за этой организацией только импортные функции, а всю экспортную работу передать создаваемому торгпредству [27].

Предложения Богомолова и полпредства стали основанием для принятия НКИД 13 ноября 1934 г. решения о развитии советско-китайских отношений. НКИД предлагал Богомолову передать нанкинскому правительству принципиальное согласие советской стороны на начало переговоров о заключении торгового договора на условиях наибольшего благоприятствования обеих сторон, без принятия каких-либо обязательств, с сохранением советских экономических интересов в Синцзяне [28]. Кроме того, НКИД счел желательным изменить формы торговых отношений с КР, «оставив за шанхайским отделением Центросоюза только закупки чая на английские кредиты» и учредив в Китае советское торгпредство [29].

Начавшийся советско-китайский переговорный процесс по вопросу заключения торгового договора и связанная с ним проблема Синцзяна стали темой записки врио заведующего 2-м Восточным отделом НКИД М.В. Юшкевича Стомонякову: «В случае, если китайцы поставят вопрос таким образом, что с момента вступления в силу торгового договора с Нанкином теряет силу наше локальное соглашение с Синцзяном (1931 г.), и будут настаивать на разрешении синцзянского вопроса в торговом договоре с Нанкином, от этого решения вопроса, по нашему мнению, следовало бы уклониться. Очевидно, что в договоре с Нанкином мы не могли бы предусмотреть всех льгот, которые оговорены в соглашении 1931 года» [30].

Вслед за запиской Юшкевича Стомоняков получил записку Экономической части и 2-го Восточного отдела НКИД, которая также была посвящена вопросу торгового договора. Записка начиналась с категорического утверждения о том, что, с экономической точки зрения, СССР не заинтересован в торговом договоре с Китаем ввиду незначительных объемов экспорта и импорта, а также устойчивой тенденции сокращения этих объемов. «Если китайцы, – подчеркивалось в записке, – имеют в виду поставить торговый договор под материальным углом зрения, получения от нас каких-либо твердых обязательств по импорту, то от переговоров по торговому договору следует уклониться» [31]. В то же время, если «китайцы ставят вопрос о торговом договоре под политическим углом зрения, желая фактом подписания торгового договора продемонстрировать улучшение советско-китайских отношений <...>, в этом случае мы могли бы пойти на заключение договора, не связываясь никакими обещаниями материального порядка. Этот договор мог бы представлять дополнительный интерес для Китая и как первый развернутый равноправный китайский договор с крупной страной» [32].

В записке также были обозначены подходы к решению частных вопросов будущего торгового договора, таких как права физических и юридических лиц, торгпредство, режим торговли, таможенное обложение, налоговые вопросы, режимы морского и речного судоходства, вопросы КВЖД, Синцзяна и Внешней Монголии [33].

Вопросы особых отношений СССР и провинции Синцзян, а также заключения торгового договора стали темой Постановления Политбюро ЦК ВКП(б) от 25 марта 1935 г., принятого сразу после подписания соглашения о продаже КВЖД японо-маньчжоугоской стороне. Постановление обязывало Богомолова от имени советского правительства заверить Чан Кайши «в абсолютном уважении Советским Союзом суверенных прав Китая, в целостности и неприкосновенности его территории, в том числе в Синцзяне <...>, что интересы СССР в Синцзяне исчерпываются заинтересованностью в установлении и учреждении там китайской власти, свободной от влияния империалистических держав» [34]. Богомолов также должен был дать положительный ответ на китайское предложение о начале официальных переговоров по вопросу заключения торгового договора «на началах наибольшего благоприятствования, правовых норм, без принятия на себя, однако, каких-либо обязательств в отношении размещения заказов» [35].

На следующий день после принятия данного постановления Политбюро ЦК ВКП(б) Литвинов направил Богомолову согласованный с НКВТ проект торгового договора с КР, сопроводив его развернутым письмом с комментариями директивного характера. Отмечая готовность советского правительства дать согласие на ведение торговых переговоров с Китаем, Литвинов обратил внимание на политическое значение для Китая торгового договора как равноправного, заключенного с крупной страной, что могло бы стать прецедентом. Далее Литвинов подчеркивал, что советское правительство не возьмет на себя никаких материальных обязательств по договору, как и никаких материальных требований по таможенным пошлинам, никаких обязательств по транзиту китайских товаров, кроме транзита из Синцзяна в Центральный Китай и обратно. Особо отмечалось отсутствие в советском проекте торгового договора статьи о торгпредстве как не имеющей на тот момент актуальности. Статья 24 проекта предусматривала распространение действия договора на все провинции Китая, включая Синцзян. «Этой статьей, – подчеркивал Литвинов, – мы хотим снять постановку с китайской стороны вопроса о Синцзяне. Если китайцы будут требовать отмены нашего соглашения с Синцзяном 1931 г., то это домогательство надо будет решительно отвергнуть, указав, что названное соглашение не противоречит будущему договору, что оно представляет собой соглашение локального порядка, направленное к урегулированию вопросов, возникающих между среднеазиатской республикой с Синцзяном. <...> Если китайцы поставят вопрос о займе, предоставленном нами Синцзяну, разъясните, что речь идет не о займе, а о коммерческой сделке, заключенной между советскими хозяйственными организациями и Синцзянской правительственной компанией на поставку товаров на определенных условиях» [36].

9 мая 1935 г. Богомолов передал в китайский МИД советский проект торгового договора. К докладной записке в НКИД по этому поводу была приложена стенограмма беседы с министром

иностранных дел Ван Цзинвэем от 9 мая, в ходе которой Богомолов обозначил принципиальные условия советской стороны: договор не должен содержать каких-либо материальных обязательств, обе стороны получают права наибольшего благоприятствования. Богомолов также отметил, что советский проект торгового договора имеет общий характер и состоит из трех основных частей: о правах граждан, о товарах и политике экспорта и импорта, о правах морских и речных судов обеих сторон. Поясняя советский подход к составлению текста договора, имевшего общий характер, Богомолов обратил внимание на «ничтожные» объемы торговли. Поэтому было «необходимо на первое время урегулировать торговые отношения договором общего характера и, таким образом, поставить советско-китайскую торговлю на ноги...» [37] В ходе беседы Ван Цзинвэй высказал предложение о создании небольших комиссий на предмет детального изучения сложного комплекса вопросов советского проекта [38].

Ответная реакция НКИД на послание Богомолова о беседе с Ван Цзинвэем от 9 мая 1935 г. была изложена в письме от 28 июня 1935 г. заведующего 2-м Восточным отделом Б.И. Козловского, которое начиналось следующими словами: «Мы не видим оснований отклонять предложение Ван Цзинвэя о создании небольших комиссий для изучения вопроса о торговом договоре», поскольку подобные комиссии создавались на аналогичных переговорах с Францией, где первая комиссия занималась вопросами прав граждан и юридических лиц, вторая – вопросами торговли и мореплавания, «то же самое может быть сделано и в переговорах с китайцами» [39]. НКИД также считал ошибочным аргументировать отсутствие в договоре материальных обязательств сторон малыми объемами торговли, полагая, что это может вызвать обратную реакцию китайской стороны, «напротив, следует говорить, что торговый договор создает новую базу для будущего развития торговли...» [40]

Во время беседы 9 мая 1935 г. Ван Цзинвэй пообещал в течение 10 дней передать Богомолову китайский контрпроект торгового договора, однако это произошло только 14 октября. Китайский проект содержал ряд неприемлемых для советской стороны положений, включая пункт, объявлявший недействительными все заключенные Советским Союзом договоры и соглашения с руководством китайских провинций, в том числе с правительством Синцзяна [41].

Богомолов и Стомоняков были согласны в том, чтобы внимательно изучить китайский проект в Москве [42]. 27 декабря 1935 г. НКИД принял «Заключение советской стороны по китайскому контрпроекту торгового договора», в преамбуле которого говорилось о том, что предлагаемый документ «может быть принят за основу в предстоящих переговорах с китайцами о заключении торгового договора, со следующими добавлениями и изменениями» [43]. Далее следовал перечень из почти 20 статей договора, которые, по мнению советской стороны, подлежали либо изъятию, либо замене, либо же серьезной редакционной правке [44]. Кроме официального заключения о китайском контрпроекте торгового договора, Богомолов получил еще и подробные комментарии к советским замечаниям от заведующего Экономической частью НКИД Б.Д. Розенблюма, который подчеркивал, что «указания по тактике переговоров Вы получите от тов. Стомонякова» [45].

29 декабря 1935 г. Стомоняков направил Богомолову письмо, в котором среди прочей информации содержались указания относительно дальнейших действий по вопросу заключения торгового договора. «Складывающаяся в Китае ситуация, – писал Стомоняков, – создает чрезвычайно благоприятную обстановку для советско-китайского сближения. Мы должны, конечно, использовать эту обстановку для закрепления наших отношений с Китаем. К сожалению, предложенный китайцами проект "торгового" договора, являющийся, по существу, проектом договора, регулирующего не только торговлю, но в значительной степени и политические взаимоотношения, не дает возможности договориться с Нанкинским правительством по этому вопросу. Приложенная к нему декларация является для нас не дискутабельной, ибо подписание ее означало бы наш отказ от договоров и, следовательно, от нынешних отношений с Монголией и Синцзяном. Ввиду того, что мы на это идти не можем, а, с другой стороны, нецелесообразно прерывать переговоры, необходимо фактически отложить их до более благоприятного времени. Наиболее целесообразно вам начать переговоры по первым статьям договора. Ведя их медленно и останавливаясь на неприемлемых вопросах» [46].

После передачи китайской стороне советского заключения по китайскому проекту торгового договора в переговорном процессе возникла очередная длительная пауза. 23 марта 1936 г. Богомолов в письме Стомонякову подчеркивал, что он в этом вопросе по-прежнему придерживается выжидательной тактики, так как, на его взгляд, в переговорах с китайцами эта тактика лучшая. «Из переговоров, – отмечал Богомолов, – пожалуй, что-нибудь может выйти только в том случае, если китайская сторона будет думать, что мы в них не особенно заинтересованы» [47]. Поддержав в целом позицию Богомолова, Стомоняков в письме от 11 апреля 1936 г. отметил, что, если китайцы проявят интерес к переговорам о торговом договоре, то «Вы можете дать согласие на ведение этих переговоров путем выделения уполномоченных, настаивая на том, чтобы эти уполномоченные приступили к постатейному рассмотрению и согласованию обоих проектов» [48].

Богомолов довел до китайского МИД предложение советской стороны по ведению переговоров путем выделения уполномоченных [49], которое было принято китайской стороной. 25 мая 1936 г. состоялось первое заседание уполномоченных от советской и китайской сторон, на котором были рассмотрены шесть статей договора, на втором заседании 28 мая – пять статей, причем все 11 статей не были до конца согласованы и были отложены по настоянию китайской стороны. Исходя из информации руководителя советских уполномоченных Г.И. Меламеда, на 22 июня 1936 г. он все еще не получил официально согласованный протокол этих двух заседаний от китайской стороны, «видимо, они не торопятся <...>, вся цель этих заседаний выяснить нашу точку зрения по всем статьям, не давая нам пока никакого окончательного ответа по ним» [50].

Богомолов в письме Стомонякову подчеркнул, что в ходе двух заседаний уполномоченных «китайцы старались как можно скорее пройти по всем статьям, мы старались их задерживать на согласовании каждой отдельной статьи. Пока дошли до 11 статьи, но, согласно вашим указаниям, мы не двинемся дальше, пока

не будет достигнуто соглашение по предыдущим статьям. Само собой разумеется, надежд даже на согласование этих статей не много <...>, на какой-нибудь сдвиг можно будет рассчитывать только тогда, когда пройдут персональные перемены в МИДе» [51].

29 июня, 22 июля и 1 сентября 1936 г. состоялись еще три заседания уполномоченных, было пройдено 14 статей, причем часть их согласовали, а часть передали на рассмотрение китайскому МИД и Богомолову. Новый уполномоченный от СССР И.И. Спильванек сообщал в НКИД, что камнем преткновения стала статья 14 о торговом балансе, ранее изъятая из проектов и вновь возвращенная китайцами в текст договора. Китайцы якобы согласны эту статью убрать, «но пока они никаких признаков жизни не подают, <...> они, видимо, не торопятся, а я особенно не настаивал» [52].

В отсутствие особой заинтересованности сторон в активизации переговорного процесса по вопросу о торговом договоре к 7 июля 1937 г., началу полномасштабной войны Японии против Китая, документ так и не был подписан. Между тем Китай остро нуждался в современной по тому времени военной технике, оружии, боеприпасах и купить все это он мог только в СССР. В этих условиях Чан Кайши через Богомолова и посольство Китая в Москве обращается с многочисленными просьбами об ускорении начала военных поставок из СССР, он, подчеркивал Богомолов, «просит рассматривать вопрос как чисто коммерческий, без всяких политических обязательств со стороны СССР» [53].

Обоюдная заинтересованность в отражении японской агрессии вынуждала советское руководство, несмотря на вовлеченность в антифашистский конфликт в Испании [54], оперативно реагировать на просьбы китайского руководства. Подписанное в Москве 14 сентября 1937 г. соглашение регулировало вопросы советских военных поставок в счет советских кредитов и их оплаты Китаем по бартеру – поставками редкоземельных металлов и сельскохозяйственной продукции.

В условиях японо-китайской войны также оперативно решался вопрос об открытии в г. Ланьчжоу (провинция Ганьсу) торгового представительства НКВТ. 10 октября 1937 г. рассматривался проект постановления Политбюро ЦК ВКП(б), а 11 октября постановление было принято. В нем говорилось: «...разрешить НКВТ открыть свое небольшое представительство <...> в Ланьчжоу» [55].

Вопрос о необходимости открытия официального советского торгового представительства при посольстве СССР в КР возник в ходе беседы нового полпреда СССР в КР И.Т. Луганца-Орельского с Чан Кайши 24 апреля 1938 г., посвященной в том числе проблеме китайских поставок в СССР редкоземельных металлов и сельскохозяйственной продукции в оплату выделенных кредитов на закупку вооружения. Чан Кайши предложил, чтобы в закупке китайских товаров участвовал советский торговый представитель для определения цен и логистики их доставки в СССР [56].

В отсутствие торгового представительства СССР в КР функции контроля за китайскими поставками в СССР оказались возложенными на посольство. И.Т. Луганец-Орельский неоднократно указывал представителям руководства КР на нарушения графика, объемов и логистики поставок. Так, 29 мая 1938 г. в беседе с Чан Кайши он обратил его внимание на то, что к тому моменту

в СССР было отправлено товаров только на 800 тыс. долл. вместо 10 млн долл. Чан Кайши обещал разобраться и наказать виновных [57].

Аналогичные претензии 28 ноября 1938 и 24 февраля 1939 г. [58] Луганец-Орельский высказал председателю Исполнительного юаня КР Кун Сянси, который, отвечая за торговые отношения с СССР, был вынужден в письме В.М. Молотову признать нарушение графика поставок китайских товаров в СССР и принести соответствующие извинения в преддверии советско-китайских переговоров о выделении очередного, третьего по счету, кредита Китаю [59].

Выполняя контроль за советско-китайскими торговыми операциями, И.Т. Луганец-Орельский пришел к выводу о необходимости их срочной институциализации. 11 мая 1939 г. в письме в ЦК ВКП(б) он заявил о необходимости заключения с КР торгового договора [60].

24 мая 1939 г. Сталин получил от Чан Кайши телеграмму с благодарностью за оказываемую военную помощь и просьбой принять одного из руководителей Гоминьдана Сунь Фо для ведения переговоров об оказании Китаю дополнительной срочной помощи [61]. В ходе поездки Сунь Фо в Москву была достигнута договоренность о выделении Китаю кредита на 150 млн долл. США. Подписанный 13 июня 1939 г. кредитный договор регулировал не только процесс советских поставок в Китай, но и поставки «товаров и различного сырья Союзу Советских Социалистических Республик в счет погашения кредита...» [62] Через три дня, 16 июня, нарком внешней торговли СССР А.И. Микоян и Сунь Фо подписали еще один документ – Торговый договор между Союзом Советских Социалистических Республик и Китайской Республикой [63].

Подписание торгового договора в Москве проходило в экстремальных для Китая военно-стратегических условиях – поражений китайской армии и оккупации Японией значительной части территории на севере, востоке и в центральной части страны. К тому же СССР на тот момент являлся единственным зарубежным источником приобретения военной техники, оружия и снаряжения, которого в Китае катастрофически не хватало. В условиях войны китайская сторона не смогла выдерживать графики поставок товаров в СССР в счет погашения кредитов. Перед заключением кредитного соглашения 1938 г. Чан Кайши в телеграмме Сталину признавался: «За оружие, полученное в кредит в прошлом, мы еще окончательно не рассчитались. Мы также еще не возместили расходы, связанные с крупными перевозками» [64]. Через год, к моменту подписания кредитного договора 1939 г. на 150 млн долл. США, ситуация с поставками китайских товаров СССР изменилась только в худшую сторону, о чем постоянно сообщал советскому руководству Луганец-Орельский.

В таких условиях китайское руководство вряд ли могло рассчитывать на включение в текст торгового договора неприемлемых для СССР пунктов о Синцзяне и Монголии, о монополии китайской торговли с СССР, о торговом балансе, о материальных обязательствах сторон и т.д.

Текст договора включал преамбулу и 15 статей. Первая статья устанавливала режим наибольшего благоприятствования в торговле для обеих сторон, под который подпадали: «а) таможенные пошлины, надбавка к ним, а также сборы всякого рода как по ввозу, так и по вывозу; б) условия взимания упомянутых

пошлин, надбавок и сборов; в) таможенные формальности; г) помещение товаров в склады; пользование для них таможенными складами; нормирование прибытия и пребывания товара в таможенных и других публичных складах и выбытия из них; д) способы проверки и анализа товаров; условия допущения ввоза товара или применения к нему льгот по таможенному обложению в зависимости от состава товара, его чистоты, его санитарных качеств и т.п.; е) таможенная классификация и толкование применяемых тарифов» [65].

Статьи V–X торгового договора регулировали условия морского и речного торгового судоходства. Статья X гласила, что «внутреннее судоходство на территории одной из Договаривающихся Сторон и каботаж будут закрыты для граждан, хозяйственных организаций и судов Другой Стороны. Граждане и хозяйственные организации обеих Договаривающихся Сторон будут иметь право плавания и рыболовства в реках, озерах и водах, общих для обеих стран, в соответствии с правилами, которые будут изданы для этой цели по соглашению правительств обеих Договаривающихся Сторон» [66].

Статья XI особо оговаривала право Советского государства на монополию внешней торговли и связанную с этим необходимость создания при посольстве СССР в КР торгового представительства, правовое положение которого предполагалось определить особыми постановлениями, являвшимися неотъемлемой частью торгового договора [67].

Статья XII устанавливала режим наибольшего благоприятствования для хозяйственной деятельности физических и юридических лиц на территории договаривающихся сторон, а также возможность для них «выступать лично или через доверенных в судах другой Стороны и пользоваться свободным и легким доступом в суды» [68].

Статья XIII определяла трехъязычный характер текста договора, причем в случае разногласий в вопросе толкования договора «определяющее значение будет иметь английский текст». В этой статье также были определены условия создания двухсторонней Согласительной комиссии (по три человека от каждой стороны) на случай возникновения «каких-либо разногласий» [69].

Договор должен был вступить в силу после обмена ратификационными грамотами. Предполагалось, что это произойдет «в возможно короткий срок» [70], однако договор вступил в силу только 16 марта 1940 г. Договор заключался на три года, по истечении этого срока он автоматически продлевался еще на один год при отсутствии намерения одной из сторон не продлевать его. Далее договор автоматически пролонгировался «на следующий годовой период и так далее в последующем» [71].

Как видно из документов, переговорный процесс о заключении советско-китайского торгового договора в контексте нормализации межгосударственных отношений в 1930-е гг. оказался самым длительным в сравнении с аналогичными переговорными процессами, касавшимися военно-политического взаимодействия сторон и авиационного сообщения между СССР и Китаем. Понимая необходимость институциализации торгово-экономических отношений, руководства обеих стран тем не менее с самого начала обозначили некоторые неприемлемые для другой страны принципиальные условия. Для советской стороны неприемлемыми оказались попытки китайской стороны через торговый

договор разрушить торгово-экономическое сотрудничество с провинцией Синцзян и Монголией, включить в текст договора пункты о торговом балансе, материальных обязательствах и др. Подписание торгового договора проходило в условиях полномасштабной японо-китайской войны, в ходе которой Советский Союз начал поставлять Китаю военную технику и снаряжение на условиях предоставления кредитов и их возврата китайской стороной по бартеру – редкоземельными металлами и сельскохозяйственной продукцией. Возросшие объемы и сложность торговых операций диктовали необходимость институциализации торгово-экономических отношений двух стран, что в итоге и привело к подписанию торгового договора. Зависимость Китая от советских кредитов и от поставок советского оружия не могли не отразиться на тексте торгового договора, в который не были включены неприемлемые для Советского Союза условия.

Примечания

1. ГРИГОРЬЕВ А.М. Борьба ВКП(б) и Коминтерне по вопросам политики в Китае: 1926–27 годы. — Проблемы Дальнего Востока. 1993. № 2, с. 102–117; № 3, с. 109–128.
2. СИДОРОВ А.Ю. Проблема заключения пакта о ненападении в советско-китайских отношениях (1932–1937 гг.). — Там же. 2009. № 1, с. 122–138.
3. НОВИКОВ М.В. Советско-китайские переговоры об оказании Китаю военной помощи (1935–1937 гг.). — Социально-политические исследования. 2026. № 1, с. 87–104.
4. ЕГО ЖЕ. Установление авиационного сообщения между Китаем и Советским Союзом. — Вестник гуманитарного образования. 2026. № 1, с. 54–64.
5. ЕГО ЖЕ. Партийно-государственное руководство развитием советско-китайского культурного сотрудничества в 1934–1945 гг. — Верхневолжский филологический вестник. 2025. № 1 (40), с. 210–223.
6. СЛАДКОВСКИЙ М.И. История торгово-экономических отношений СССР с Китаем (1917–1974). М. 1977, с. 133.
7. Директива НКИД СССР послу СССР в КР Д.В. Богомолову о торговых отношениях между СССР и КР. 28 апреля 1933 г. В кн.: Русско-китайские отношения в XX веке. Т. III: Советско-китайские отношения (сентябрь 1931 – сентябрь 1937 гг.) / Отв. ред. С.Л. Тихвинский. М. 2000, с. 160.
8. Письмо заместителя наркома иностранных дел СССР Г.Я. Сокольникова полпреду СССР в КР Д.В. Богомолову… 27 сентября 1933 г. — Там же, с. 212.
9. Там же.
10. Меморандум посольства КР в СССР о порядке импорта в КР оружия и снаряжения. 14 октября 1933 г. — Там же, с. 216.
11. Письмо полпреда СССР в КР Д.В. Богомолова заместителю наркома иностранных дел СССР Г.Я. Сокольникову о необходимости направления торгпреда в КР. 29 августа 1933 г. — Там же, с. 203.
12. Из доклада полпреда СССР в КР Д.В. Богомолова «Политическое и экономическое положение Китая в 1933 г.». 30 января 1934 г. — Там же, с. 257.
13. Там же.
14. Там же, с. 258–259.
15. Там же, с. 259.
16. Из письма полпреда СССР в КР Д.В. Богомолова наркому иностранных дел СССР М.М. Литвинову… 25 июня 1934 г. — Там же, с. 308.
17. Письмо заместителя наркома иностранных дел СССР Б.С. Стомонякова полпреду СССР в КР Д.В. Богомолову по вопросу о переговорах с КР по торговому договору. 9 июля 1934 г. — Там же, с. 311.
18. Там же.
19. Информационное письмо заведующего Экономической частью НКИД СССР Б.Д. Розенблюма полпреду СССР в КР Д.В. Богомолову по вопросу о торговом договоре с КР. 8 августа 1934 г. — Там же, с. 319.
20. Там же.
21. Письмо заместителя наркома иностранных дел СССР Б.С. Стомонякова полпреду СССР в КР Д.В. Богомолову… 8 августа 1934 г. — Там же, с. 320.
22. Письмо полпреда СССР в КР Д.В. Богомолова заместителю наркома иностранных дел СССР Б.С. Стомонякову… 7 сентября 1934 г. — Там же, с. 323.
23. Там же.

24. Там же.
25. Там же, с. 324.
26. Там же.
27. Предложение полпредства СССР в КР по развитию отношений между СССР и КР... 10 ноября 1934 г. — Там же, с. 353.
28. Решения о развитии советско-китайских отношений, принятые НКИД СССР... 13 ноября 1934 г. — Там же, с. 357.
29. Там же, с. 358.
30. Записка врио заведующего 2-м Восточным отделом НКИД СССР М.В. Юшкевича заместителю наркома иностранных дел СССР Б.С. Стомонякову... 4 декабря 1934 г. — Там же, с. 362.
31. Записка экономической части НКИД СССР и 2-го Восточного отдела НКИД СССР заместителю наркома иностранных дел СССР Б.С. Стомонякову по вопросу о торговом договоре с Китаем (без даты, 1934 г.). — Там же, с. 372.
32. Там же.
33. Там же, с. 372–373.
34. Постановление ПБ ЦК ВКП(б) об активизации советско-китайских отношений. 25 марта 1935 г. — Там же, с. 410.
35. Там же.
36. Письмо наркома иностранных дел СССР М.М. Литвинова полпреду СССР в КР Д.В. Богомолову о проекте торгового договора с Китаем. 26 марта 1935 г. — Там же, с. 411–412.
37. Докладная записка полпреда СССР в КР Д.В. Богомолова заместителю иностранных дел СССР Б.С. Стомонякову о предварительных переговорах с китайской стороной по вопросу о заключении советско-китайского договора о торговле. 16 мая 1935 г. — Там же, с. 428–429.
38. Там же, с. 428.
39. Письмо заведующего 2-м Восточным отделом НКИД СССР Б.И. Козловского полпреду СССР в КР Д.В. Богомолову по вопросу заключения советско-китайского торгового договора. 28 июня 1935 г. — Там же, с. 435.
40. Там же.
41. Русско-китайские отношения в XX веке, т. III..., с. 801.
42. Письмо заместителя наркома иностранных дел СССР Б.С. Стомонякова полпреду СССР в КР Д.В. Богомолову о проекте договора о торговле между СССР и КР, подготовленном китайской стороной. 29 октября 1935 г. В кн.: Русско-китайские отношения в XX веке, т. III..., с. 463.
43. Заключение советской стороной по китайскому контрпроекту торгового договора. 27 декабря 1935 г. — Там же, с. 691.
44. Там же, с. 691–693.
45. Письмо заведующего Экономической частью НКИД СССР Б.Д. Розенблюма полпреду СССР в КР Д.В. Богомолову о комментариях к китайскому проекту договора о торговле. 28 декабря 1935 г. — Там же, с. 490–492.
46. Письмо заместителя наркома иностранных дел СССР Б.С. Стомонякова полпреду СССР в КР Д.В. Богомолову о новом этапе в советско-китайских отношениях. — Там же, с. 493.
47. Письмо полпреда СССР в КР Д.В. Богомолова заместителю наркома иностранных дел СССР Б.С. Стомонякову... 23 марта 1936 г. — Там же, с. 517.
48. Письмо заместителя наркома иностранных дел СССР Б.С. Стомонякова полпреду СССР в КР Д.В. Богомолову по вопросу о торговом договоре между СССР и КР. 11 апреля 1936 г. — Там же, с. 527.
49. Письмо полпреда СССР в КР Д.В. Богомолова заместителю наркома иностранных дел СССР Б.С. Стомонякову по вопросу о торговом договоре между СССР и КР. 2 мая 1936 г. — Там же, с. 549.
50. Письмо первого секретаря полпредства СССР в КР Г.И. Меламеда заведующему 2-м Восточным отделом НКИД СССР Б.И. Козловскому и заведующему Экономической частью НКИД СССР Б.Д. Розенблюму об обсуждении вопроса о торговом договоре СССР с КР. 22 июня 1936 г. — Там же, с. 556.
51. Письмо полпреда СССР в КР Д.В. Богомолова заместителю наркома иностранных дел СССР Б.С. Стомонякову о советско-китайских отношениях на текущем этапе. 25 июня 1936 г. — Там же, с. 565–566.
52. Письмо поверенного в делах СССР в КР И.И. Спильванека заведующему 2-м Восточным отделом НКИД СССР Б.И. Козловскому о подписании сторонами Посылочного соглашения в ходе переговоров по подписанию торгового договора... 25 ноября 1936 г. — Там же, с. 588.
53. Телеграмма полпреда СССР В КР Д.В. Богомолова из Шанхая в НКИД СССР... 26 июля 1937 г. В кн.: Русско-китайские отношения в XX веке: М-лы и док-ты. Т. IV: Советско-китайские отношения. 1937–1945 гг. Кн. 1: 1937–1944 гг. / Ин-т Дальнего Востока РАН, Ист.-док. департамент МИД РФ, Федер. архив. служба РФ; Отв. ред. С.Л. Тихвинский. М. 2000, с. 73.

54. НОВИКОВ М.В. СССР в борьбе с фашизмом: советская помощь Испанской Республике в 1936–1939 гг. и Китайской Республике в 1937–1945 гг. Ярославль. 2024.
55. Проект постановления Политбюро ЦК ВКП(б) по вопросу об открытии представительства НКВТ в Ланьчжоу, направленный Генеральному Секретарю ЦК ВКП(б) И.В. Сталину. 10 октября 1937 г. В кн.: Русско-китайские отношения в XX веке: М-лы и док-ты, т. IV, кн. 1…, с. 134–135.
56. Запись беседы полпреда СССР в КР И.Т. Луганца-Орельского с Чан Кайши в г. Учане о торговых связях между Советским Союзом и Китаем… 24 апреля 1938 г. — Там же, с. 233.
57. Запись беседы полпреда СССР в КР И.Т. Луганца-Орельского с Чан Кайши в Учане… 29 мая 1938 г. — Там же, с. 252.
58. Запись беседы полпреда СССР в КР И.Т. Луганца-Орельского с председателем Исполнительного юаня Кун Сянси… 28 ноября 1938 г. — Там же, с. 355, 366; Телеграмма полпреда СССР В КР И.Т. Луганца-Орельского в НКИД СССР… 24 февраля 1939 г. — Там же, с. 399–400.
59. Письмо председателя Исполнительного юаня КР Кун Сянси председателю совета народных комиссаров СССР В.М. Молотову по вопросу о поставках товаров из Китая в СССР. 1 марта 1939 г. — Там же, с. 400–401.
60. Письмо полпреда СССР в КР И.Т. Луганца-Орельского в ЦК ВКП(б) в связи с визитом в СССР председателя Законодательного юаня Сунь Фо. 11 мая 1939 г. — Там же, с. 443.
61. Телеграмма Чан Кайши И.В. Сталину из Чунцина… 24 мая 1939 г. — Там же, с. 446.
62. Договор между правительствами Союза Советских Социалистических Республик и Китайской Республикой о реализации кредита на 150 миллионов американских долларов. 13 июня 1939 г. — Там же, с. 452.
63. Торговый договор между Союзом Советских Социалистических республик и Китайской Республикой. 16 июня 1939 г. — Там же, с. 454–458.
64. Телеграмма Чан Кайши из Учана на имя И.В. Сталина и К.Е. Ворошилова… 5 мая 1938 г. — Там же, с. 238–239.
65. Торговый договор между Союзом Советских Социалистических республик и Китайской Республикой. 16 июня 1939 г. — Там же, с. 455.
66. Там же, с. 457.
67. Там же.
68. Там же, с. 458.
69. Там же.
70. Там же.
71. Там же.

УДК 93/94
DOI: 10.31166/
VoprosyIstorii202608StatyiO4
Статья поступила в редакцию 14.05.2026
Статья принята в печать 04.06.2026

Битва при Адуа и русский Красный Крест в Эфиопии в 1896 г.: малоизвестные подробности

А.В. Хренков

The Battle of Adwa and the Russian Red Cross in Ethiopia in 1896: little-known details

A.W. Khrenkov

Аннотация. Статья представляет собой расширенную версию доклада, прочитанного в рамках международной научно-практической конференции, посвященной 130-летию победы Эфиопии в итало-эфиопской войне 1895–1896 гг. и 130-летию гуманитарной миссии Российского общества Красного Креста, состоявшейся 4 марта 2026 г. в Российском университете дружбы народов имени Патриса Лумумбы.

Ключевые слова: Россия, Африка, Эфиопия, гуманитарная помощь, Красный Крест, международные отношения.

Abstract. This article is an expanded version of the report read at the international scientific and practical conference dedicated to the 130th anniversary of Ethiopia's victory in the Italo-Ethiopian War of 1895–1896 and the 130th anniversary of the humanitarian mission of the Russian Red Cross Society, held on March 4, 2026 at the Patrice Lumumba Peoples' Friendship University of Russia.

Key words: Russia, Africa, Ethiopia, humanitarian aid, Red Cross, international relations.

Хренков Андрей Вальтерович – кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН.
E-mail: andhorse59@yandex.ru.

Khrenkov Andrey W. – PhD (History), Senior Scientist in the Institute of Oriental Studies of the Russian Academy of Science.
E-mail: andhorse59@yandex.ru.

В текущем году мы отметили два знаменательных для Африки и особенно российско-эфиопских отношений исторических события: 130-летний юбилей битвы при Адуа – первого в истории генерального сражения, в котором африканцы нанесли полное поражение европейской армии, а также 130-летие первой широкомасштабной гуманитарной акции России на Африканском континенте – отправки в Эфиопию в 1896 г. большого медицинского отряда Российского общества Красного Креста (РОКК).

Хотя эти события ранее неоднократно освещались в советской и российской исторической литературе [1], многие нюансы их остаются в тени, не замечены, забыты или попросту игнорируются современными историками. Это, в свою очередь, создает почву для искажения фактов и создания разного рода небылиц.

Мало кто знает сегодня, что первоначально Россия планировала отправить на театр войны не один, а два санитарных отряда – один для оказания помощи раненым эфиопам, а второй – раненым итальянцам. Работать они должны были по разные стороны границы. Первый – в Эфиопии (Абиссинии), второй – в соседней с нею итальянской Эритрее. До театра военных действий отряд первоначально планировал добираться через эритрейский порт Массауа, а не через Джибути. Он значительно ближе к Суэцкому каналу (а, следовательно, путь из России был бы короче), а главное – порт Массауа находился всего в 200–250 км от театра военных действий.

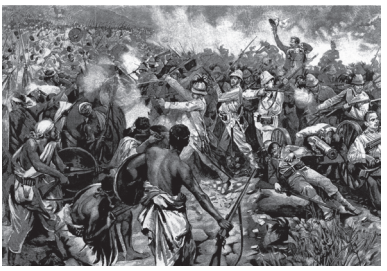
Впрочем, обратимся к хронологии тех событий и постараемся восстановить их в строгой последовательности.

Битва при Адуа, инициатива РОКК и европейские интриги. Через несколько дней после получения Россией известия о битве при Адуа (1 марта 1896 г.) и решительной победе в ней эфиопских войск над итальянцами стихийно возникла идея направить эфиопским христианам, которых многие в России считали тогда православными единоверцами, медицинскую помощь.

Откликаясь на призыв общественности, председатель Российского общества Красного Креста генерал-адъютант Михаил Петрович фон Кауфман направил 6 марта 1896 г. [2] письмо министру иностранных дел России князю Алексею Борисовичу Лобанову-Ростовскому, в котором сообщил о намерении РОКК отправить на театр военных действий два русских санитарных отряда – один в Эфиопию, другой – в Эритрею.

МИД выразил готовность обеспечить дипломатическую поддержку этой инициативе. В России начался сбор добровольных денежных пожертвований, кроме того, правительство выделило на это, по разным данным, от 100 до 120 тыс. руб.

М.П. фон Кауфман настаивал, чтобы русские санитарные отряды были «во всех отношениях образцом лучшего, что может быть дано от русского Красного Креста» [3]. И действительно, отбирали лучших военных врачей – докторов медицины, великолепных хирургов, многие из которых были врачами гвардейских полков. Медико-хирургическими инструментами укомплектовывала отряды самая знаменитая



Илл. 1. Битва при Адуа. Гравюра из журнала L'Illustrazione Italiana, 29 мая 1896 г. Эфиопские войска атакуют войска итальянского бригадного генерала Витторио Эмануэле Дабормиды 1 марта 1896 г.

в России фирма Сергея и Петра Егоровичей Трындиных. В последней трети XIX в. эта компания по производству приборов и медико-хирургических инструментов была известна не только в России, но и в Европе. Она являлась неизменной участницей всероссийских и международных выставок, на которых нередко получала главные награды. В 1896 г. фирма Трындиных готовилась представить новейший ассортимент своих медицинских изделий на XVI Всероссийской художественно-промышленной выставке в Нижнем Новгороде. Именно этой компании Главное управление РОКК направило просьбу прислать для укомплектования снаряжаемого в Африку санитарного отряда «полный хирургический набор со всеми инструментами», причем не ординарный, а «заказанный для нижегородской выставки», и пополнить его «лучшими и новейшими инструментами» [4].

Илл. 2. Генерал-адъютант М.П. фон Кауфман. Источник: Столетие Военного министерства. 1802–1902. Т. 2: Императорская главная квартира. История государевой свиты. Кн. 4: Царствование императора Александра II. СПб. 1914

Российский МИД запросил у итальянских властей разрешения на проход санитарного отряда к театру военных действий через территорию Эритреи, и такое разрешение было первоначально получено. Однако уже через несколько дней итальянцы активно принялись искать повод его саботировать. Сначала правительство Италии заявило, что второй русский санитарный отряд не следует направлять в Эритрею, так как их раненые вывозятся оттуда для лечения в Неаполь. В Петербурге это учли и начали готовить второй отряд к отправке в Неаполь. Однако еще через пару дней из Рима попросили «приостановить посылку русского отряда в Неаполь, вследствие изобилия уже поступивших вспомоществований» [5]. И сразу же после этого итальянские власти отменили разрешение на высадку в Массауа отряда, направляемого в Эфиопию. Мотивировали тем, что, по дошедшим до них якобы слухам, отряд этот «сопровождает конвой из 200 солдат и 4 офицеров» [6]. Кауфман дал опровержение и просил информировать Рим, что в отряде всего 60 человек – врачи, младший медперсонал (фельдшеры, санитары, медсестры), а также уполномоченные РОКК (то есть административный персонал). Но итальянцы не спешили возобновлять разрешение. Более того, они просили задержать уже находящийся в Одессе и готовый к отправке отряд, ссылаясь на то, что высадку в Массауа требуется согласовать с вновь назначенным командующим итальянскими войсками в Эритрее генералом А. Бальдиссера.

Председатель РОКК был крайне возмущен просьбой задержать отправку отряда. В письме Лобанову-Ростовскому (29 марта 1896 г.) он просил министра сообщить в Рим, что РОКК не станет исполнять этой просьбы итальянского правительства, «задавшегося <…> целью сорвать посылку в Эфиопию» русских врачей. Он заявил, что санитарный отряд отправится к месту назначения во что бы то ни стало, даже если для этого придется изменить маршрут [7].

А посол России в Италии Александр Егорович Влангали советовал не рассчитывать на то, что в Риме изменят свое решение, и «ныне же дать нашему отряду приказание направить свой путь на Джибути» [8].

Последовав этому совету, Лобанов-Ростовский немедленно поручил российскому послу в Париже А.П. Моренгейму запросить разрешение французского правительства на высадку отряда в Джибути [9], хотя еще надеялся, что ему все-таки позволят высадиться в Массауа. Надежды эти окончательно растаяли 1 апреля. В этот день посол Италии в России К. Маффеи ди Больо уведомил российский МИД, что «ввиду возбуждения общественного мнения в Италии по этому поводу» правительство его страны «не считает возможным разрешить» пропуск русского отряда через Массауа [10].

Между тем сам санитарный отряд находился уже в Александрии (Египет), где его начальника генерал-майора Н.К. Шведова застало указание изменить маршрут следования ввиду отказа итальянцев разрешить высадку в Массауа.

Шведову пришлось также выполнить распоряжение Главного управления РОКК о сокращении на треть персонала отряда, отправив назад в Россию несколько фельдшеров и всех медсестер, так как в связи с изменением пункта высадки отряду предстоял многодневный караванный переход через две пустыни. Руководство РОКК опасалось за жизнь и здоровье женщин, которые могли не выдержать тяжести такого перехода. Не добавляли оптимизма и телеграфные сообщения губернатора французской колонии Л. Лагарда, который пугал Шведова предстоящими трудностями пути, отсутствием вьючных животных и безводьем в пустыне.

18 апреля пароход «Нубия» с отрядом на борту бросил якорь в Джибути. Верблюдов и мулов, как и писал Лагард, там действительно не было. Даже тех, что имелись ранее, скупили французы для собственной военной экспедиции на Мадагаскар. С огромным трудом и за большие деньги Шведову удалось в конце концов договориться с вождями нескольких сомалийских кланов, которые стали понемногу пригонять животных в Джибути, и Шведов небольшими партиями начал отправлять персонал и груз отряда в Харэр (ближайший пограничный город Абиссинии).

И здесь на арене вновь возникли итальянцы, на сей раз в лице графини Сантафиора, председательницы итальянского Дамского комитета. Она сообщила русскому правительству, что возглавляемый ею благотворительный комитет организовал санитарный отряд, уже готовый будто бы отправиться в Эфиопию для помощи итальянцам, находящимся в эфиопском плену. Причем этот отряд собирался добираться до Эфиопии почему-то тоже через Джибути. В связи с этим графиня Сантафиора обращалась к русскому правительству с просьбой обязать генерала Шведова, находящегося в Джибути, оказать итальянскому отряду поддержку и покровительство [11].

Илл. 3. Николай Константинович Шведов. Источник: URL: http://www.grwar.ru/persons/person/2650

М.П. фон Кауфман, получив от Лобанова-Ростовского письмо графини, был крайне возмущен и просил министра ответить ей, что у генерала Шведова и без того хватает забот, чтобы брать на себя еще и попечение над итальянским отрядом. Министр, впрочем, нашел более вежливый и благовидный предлог отклонить ее просьбу. Он сообщил графине, не покривив душой, что просьбу ее невозможно выполнить, поскольку отряд РОКК уже выступил из Джибути [12]. Действительно, когда Кауфману передали письмо графини (1 мая 1896 г.), Шведова в Джибути уже не было. Двумя днями ранее генерал отбыл в Харэр с предпоследним караваном отряда.

К слову, упомянутый итальянский санитарный отряд так и не появился в Эфиопии, и русские врачи оказались единственными, кто оказывал медицинскую помощь как эфиопским воинам, так и итальянским пленным. Таким образом, просьба графини Сантафиора больше походила на некую интригу итальянской стороны, призванную, возможно, задержать отряд РОКК в Джибути или же, получив от русских отказ, задним числом оправдать свой собственный.

Дальнейшие события, а именно трудное путешествие санитарного отряда до Харэра и затем до Аддис-Абебы, его последующая деятельность в Эфиопии и ее результаты (замечательные во всех отношениях), неоднократно и достаточно подробно описаны в трудах советских и российских историков. Поэтому мы здесь на них не останавливаемся, отсылая интересующихся к опубликованным ранее работам [13].

Битва при Адуа и русское участие: мифы и факты. Позволим себе вкратце остановиться на еще одном вопросе, имеющем прямое отношению к битве при Адуа. Это вопрос о российской военной помощи и участии в самой этой битве (на стороне эфиопов) русских военных добровольцев, в частности поручика запаса Николая Степановича Леонтьева.

Об этом сообщает, например, «Википедия», к которой мы, увы, часто обращаемся за справками, но которая отнюдь не является и никогда не являлась истиной в последней инстанции. Однако примерно то же самое написано и в изданной в 2023 г. книге И.П. Сенченко «Российская империя и Абиссиния (Эфиопия)», автор которой апеллирует, между прочим, к документам Архива внешней политики Российской империи. На с. 210 его книги читаем: «Являясь военным советником Менелика II, [Леонтьев] принимал активное участие в планировании военных операций абиссинцев в ходе войны Абиссинии с Италией в 1895–1896 гг.; сражался в рядах абиссинской армии во время битвы при Адуа (за мужество и отвагу, проявленные в этой битве, император наградил его почетным оружием – щитом и саблей). За верную службу пожаловал Н. Леонтьева в графы, и тот стал именоваться дэджазмачом Абайей» [14].

Возможно, мы кого-то разочаруем, но в приведенном фрагменте практически все – неправда. Во-первых, Менелик II никогда не назначал Леонтьева своим военным советником. Соответственно, тот не мог планировать для него никаких военных операций. Во-вторых, и это главное, Леонтьев не принимал участие в битве при Адуа. В день битвы он находился за тысячу с лишним километров от Адуа, в Джибути. О произошедшей битве он узнал лишь три дня спустя. Данный факт подтверждается его собственным письмом, адресованным заведующему Азиатской частью российского Главного штаба генерал-лейтенанту А.П. Проценко. В этом

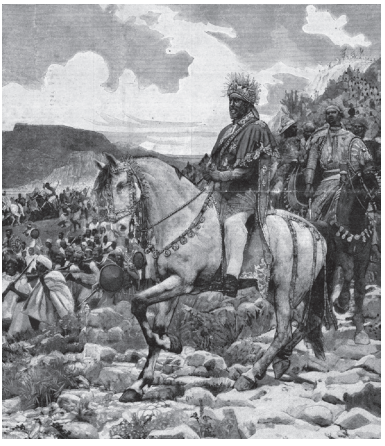
письме, датированном 4 марта 1896 г. по новому стилю (или 21 февраля по старому), Леонтьев пишет: «Дорогой Александр Петрович, пишу вам с дороги верстах в ста двадцати от Джибути. Одновременно посылаю телеграмму о большой победе, одержанной Менеликом над генералом Баратьери. Телеграмма эта шифрована специальным шрифтом (sic). <…> Подробности боя неизвестны, но итальянцы были обращены в полное бегство и не могли даже унести своих раненых…» [15]

По-видимому, данный документ, хранящийся в Российском государственном военно-историческом архиве, остался неизвестен Сенченко и ряду других авторов, которые настойчиво продвигают на страницах своих сочинений версию об участии Н.С. Леонтьева и сопровождающих его нижних чинов в битве при Адуа.

Не соответствует истине и все из данного обстоятельства вытекающее. Раз не принимал участия в битве, не могло быть и награды за отличие в ней. Что же касается графского титула и ранга дэджазмача, то они были дарованы Леонтьеву значительно позже и за другие заслуги. А вот награждения почетным оружием удостоился от императора Эфиопии, насколько нам известно, только один русский офицер. И это не Леонтьев, а поручик лейб-гвардии Гусарского полка А.К. Булатович.

Илл. 4. Николай Степанович Леонтьев. Источник: газета «Новое Время», 3 (16) июля 1910 г. (№ 12322)

Сам Леонтьев о награде именно за Адуа никогда не упоминал, хотя, судя по сохранившимся архивным документам, скромностью не отличался. Наоборот, пользовался всяким удобным случаем, чтобы напомнить властям о своих заслугах перед Эфиопией и Россией и об услугах, оказанных им лично императору Менелику, нередко даже преувеличивая их. Все это он скрупулезно перечислял в докладных и памятных записках, направлявшихся им в разные годы в различные инстанции. И таких записок Леонтьева в архивах сохранилось несколько. Но ни в одной не было упомянуто его участие в битве при Адуа или какой-либо награде за нее. Можно не сомневаться, что подобный факт он бы не забыл упомянуть, будь это хоть в малейшей степени правдой, ведь в его памятные записки занесены даже второстепенные награды и высочайшие благодарности, полученные им за время службы [16].



Илл. 5. Император Эфиопии Менелик II и его армия. Источник: Le Petit Journal, 28 августа 1898 г.

К сожалению, домысел об участии Леонтьева в битве при Адуа – не единственный в книге Сенченко. В другом месте он пишет: «Известно, что Н.С. Леонтьев был одним из организаторов военного похода абиссинских войск под предводительством раса Уольдэ-Гийоргиса к озеру Рудольфа в 1898–1899 гг., в котором участвовали несколько русских офицеров в отставке (Шедевр, Бабичев, Агапов, Адзеев, Петров)» [17]. В процитированном отрывке, увы, тоже все не соответствует

действительности – начиная с даты похода Уольде-Гийоргиса к озеру Рудольфа и заканчивая причастностью к нему Н.С. Леонтьева и упомянутых офицеров и унтер-офицеров (так как офицерами были только первые двое из названных). И.П. Сенченко попросту путает два похода, а именно военную экспедицию раса Уольде-Гийоргиса, состоявшуюся в 1897–1898 гг., и поход к озеру Рудольфа в 1899 г. военного отряда самого Н.С. Леонтьева (который к тому моменту получил титул дэджазмача и был назначен Менеликом губернатором одной из южных эфиопских провинций). Именно во втором походе и принимали участие перечисленные выше военнослужащие.

Что касается знаменитого военного похода раса Уольде-Гийоргиса к озеру Рудольфа, то он был предпринят в 1897–1898 гг. по прямому приказу императора Менелика. Сопровождал раса в этом походе не Леонтьев, а другой русский офицер – поручик А.К. Булатович, который на деле помог расу выполнить приказ императора и успешно довел авангард его армии в марте 1898 г. до цели – северной оконечности озера Рудольфа. За это Булатович и был награжден Менеликом почетным оружием. Поход этот подробно описан в книге самого Булатовича, изданной в Петербурге еще в 1900 г. и переизданной уже в советское время с подробным предисловием И.С. Кацнельсона, посвященным самому А.К. Булатовичу [18]. Почему об этом не знает или не желает знать И.П. Сенченко – непонятно.

Еще более сенсационные небылицы, но уже, по всей вероятности, умышлено, сочиняет о Леонтьеве и русских в Эфиопии некто Дмитрий Корнилов. Этот молодой человек, еще даже не окончивший вуз, решил воспользоваться политической конъюнктурой и сделать себе рекламу на растущем интересе в России к Африке. В 2025 г. он при поддержке неких спонсоров издал книжку с претенциозным названием «Русский вальс на африканских просторах, или Подлинная история создателя первой ЧВК» [19]. Эта небольшая книжечка, написанная исключительно на материале чужих исследований и публикаций (которые он выдает за публикуемые впервые), изобилует не только многочисленными фактическими ошибками, но и разного рода вымыслами.

Илл. 6. Дэджазмач Н.С. Леонтьев со своим оруженосцем. Источник: Елец Ю. Император Менелик и война его с Италией. СПб. 1898

Вероятно, из желания сделать сенсацию Д.Ф. Корнилов продвигает мифическую версию непосредственного участия русских в итало-эфиопской войне. На страницах его книги русские военные, и в первую очередь, конечно, Леонтьев со своими сподвижниками, предстают едва ли не главными спасителями эфиопов от итальянцев. После прочтения «исторического» опуса Корнилова у читателя должно сложиться впечатление, что если бы не русские, не видать бы Менелику при Адуа никакой победы. Собственно, в аннотации к книге так прямо и говорится: «Леонтьев <…> спас страну [Эфиопию] от завоевания итальянцами».

В своих псевдоисторических изысканиях Корнилов пошел значительно дальше Сенченко. В его книге русские добровольцы действуют уже буквально везде – и при штурме г. Мекеле, и при осаде крепости Амба-Алага, и в сражении

под Адуа. А сам Леонтьев выступает не только создателем «первой русской ЧВК в Африке» и спасителем Эфиопии, но еще и организатором регулярной эфиопской армии «под командованием русских офицеров».

При этом автор не затрудняет себя доказательствами или ссылками на документы. А зачем? Если уж сенсация, то с размахом.

Д.Ф. Корнилов явно не понимает, что своей ложью он не столько принижает подвиг эфиопов, сколько выставляет на посмешище самого себя, в том числе перед нашими африканскими коллегами-историками. Они ведь прекрасно знают, как все было на самом деле. Знают, что это Менелик и его полководцы без всяких иностранных военных советников одержали верх над итальянской армией.

У эфиопов крепкая историческая память, они и сегодня, через 130 лет, с благодарностью вспоминают бескорыстную помощь врачей русского Красного Креста и поддержку, оказанную им в то время Россией. Так зачем же нам искажать истину и создавать мифы, приписывая себе чужие подвиги?

Если цель – любым способом сделать себе рекламу, вряд ли стоит называть свои псевдоисторические фантазии «подлинной историей». Ведь подлинная история – это та, что основывается на фактах.

Примечания

1. См.: Российско-эфиопские отношения в XIX – начале XX в.: Сб. док-тов. М. 1998.
2. Здесь и далее даты даются по старому стилю или обозначены двойной датой, где вторая цифра соответствует новому стилю.
3. Российский государственный военно-исторический архив (РГВИА), ф. 12651, оп. 3, д. 150, л. 132–13.
4. Там же, л. 144–144об.
5. Там же, л. 151–151об.
6. Там же, л. 145–146.
7. Там же, л. 211–214.
8. Архив внешней политики Российской Империи (АВПРИ), ф. Политархив, д. 2014, л. 20–20об.
9. РГВИА, ф. 12651, оп. 3, д. 150, л. 253–254.
10. Там же, л. 252–252об.
11. Там же, л. 331–341.
12. АВПРИ, ф. Политархив, оп. 482, д. 2014, л. 36.
13. КРОХИН В.А., РАЙТ М.В. Некоторые новые документы о русско-эфиопских отношениях (конец XIX – начало XX века). — Проблемы востоковедения. 1960. № 1; ВАСИН И.И. Политика капиталистических держав в Эфиопии. М. 1974; ХРЕНКОВ А.В. Россия и Эфиопия: развитие двусторонних связей (от первых контактов до 1917 г.). М. 1992; Российско-эфиопские отношения в XIX – начале XX в. …; ЦЫПКИН Г.В. Русские медики в Эфиопии. У истоков отношений двух стран. — Новая и новейшая история. 2017. Вып. 4; ХРЕНКОВ А.В. Россия и Эфиопия: история отношений от Петра I до Николая II. М. 2022.
14. СЕНЧЕНКО И.П. Российская империя и Абиссиния (Эфиопия). СПб. 2023, с. 210.
15. РГВИА, ф. 452, д. 31, л. 4–5об.
16. См., например: Российский государственный исторический архив, ф. 560, оп. 28, д. 22, л. 31–37. [Памятная записка Н.С. Леонтьева от 25.11.1897 о его деятельности с 1894 по ноябрь 1897 гг.].
17. СЕНЧЕНКО И.П. Ук. соч., с. 211.
18. БУЛАТОВИЧ А.К. С войсками Менелика II: Дневник похода из Эфиопии к озеру Рудольфа. СПб. 1900; ЕГО ЖЕ. С войсками Менелика II. М. 1971.
19. КОРНИЛОВ Д.Ф. Русский вальс на африканских просторах, или Подлинная история создателя первой ЧВК. М.—Берлин. 2025.

УДК 94(47).083
DOI: 10.31166/
VoprosyIstorii202608Statyi06
Статья поступила в редакцию 09.06.2026
Статья принята в печать 01.07.2026

Земельные владения богатейших российских аристократов в 1890–1914 гг.: площадь, размещение и динамика

Е.Е. Юдин

The land holdings of the richest Russian aristocrats in 1890–1914: area, location and dynamics

E.E. Yudin

Аннотация. В статье рассмотрен малоизученный вопрос, связанный с мобилизацией земельной собственности крупнейших землевладельцев Российской империи в период становления индустриального капитализма. На основе архивных и опубликованных материалов проанализированы масштабы, особенности размещения и динамика купли-продажи земельных владений богатейших российских титулованных аристократов.

Ключевые слова: Российская империя, аристократия, землевладельцы, земельные владения, имения.

Abstract. This article examines the understudied issue of the mobilization of the land holdings of the largest landowners of the Russian Empire during the emergence of industrial capitalism. Based on archival and published materials, the scale, distribution features, and dynamics of purchase and sale of the land holdings of the richest Russian titled aristocrats are analyzed.

Key words: Russian Empire, aristocracy, landowners, land holdings, estates.

Юдин Евгений Евгеньевич – кандидат исторических наук, доцент кафедры истории Московского педагогического государственного университета (МПГУ).
E-mail: evgeny_yudin@mail.ru.

Yudin Evgeny E. – candidate of historical sciences, associate professor of the department of History of Moscow Pedagogical State University (MPSU).
E-mail: evgeny_yudin@mail.ru.

Если рассматривать определение российской аристократии накануне Первой мировой войны в экономическом аспекте, то оно будет тесно связано с понятием землевладельческого класса. Значимость поддержания социального статуса землевладельца осознавалось этой относительно небольшой социальной группой и рассматривалось в качестве важнейшего атрибута самоидентификации. В среде европейской аристократии конца XIX – начала XX в. возрос интерес, в частности, к описанию земельных владений и фотографированию усадебных резиденций как реакция на формирование индустриального общества и претензии буржуазного городского класса. Описание родовой земельной собственности стало неотъемлемой частью дворянской мемуарной литературы, создаваемой в тот период [1]. В 1890–1914 гг. подобная тенденция была характерна и для российского поместного дворянства. Мемуары и фотографии, как правило, запечатлевали картины усадебный жизни, а также содержали элементы описаний экономий с их агрокультурными инновациями и промышленными производствами. Владение землей не только становилось данью традиции, но и обретало новые эстетические обоснования и во многом определялось экономическим прагматизмом.

Несмотря на то что к началу XX в. российские помещики уже не были доминирующей группой среди землевладельцев, они владели значительной частью земельной площади. В 1905 г. в 50 губерниях Европейской России из общей площади земли, пригодной для ведения сельского хозяйства (280 млн дес.), 154,6 млн дес. (39,1 %) принадлежало государству, церкви и городам; 138,7 млн дес. (35,1 %) приходилось на земельные наделы крестьян; 101,7 млн дес. (25,8 %) являлись частновладельческими землями, из которых дворянству принадлежало 53,1 млн дес. (13,5 %). К 1914 г. дворянское землевладение сократилось до 42 млн дес. [2] Таким образом, распространенное представление (как правило, исходящее из факта преобладания дворян среди частных земельных собственников) о доминировании в Европейской России дворянского землевладения в значительной степени преувеличено даже с учетом региональных особенностей. В целом же Российская империя, особенно центральные русские губернии, была территорией с преобладающим крестьянским землевладением (в его как общинных, так и частных формах). Структура российского землевладения значительно отличалась от европейского и масштабом государственных владений. Земельная площадь, принадлежавшая помещикам в Европейской России, в пропорциональном отношении к общему земельному фонду соответствовала владениям дворянства во Французской республике и значительно уступала британской аристократии [3]. Так, например, в Великобритании, по данным на 1873 г., 2 тыс. семей владели 14 млн акров земли, 36 тыс. семей – 13 млн акров. В то же время короне, церкви и различным учреждениям принадлежал всего 1 млн акров [4].

К 1905 г. в Европейской России, по оценке А.П. Корелина, насчитывалось 107,2 тыс. семей помещиков [5], в 1912 г., по подсчетам С. Беккера, – 86,5–88 тыс. и 94,5–96,5 тыс. семей [6]. К высшим и средним слоям землевладельцев, то есть к тем, кто являлся полноправным членом дворянских собраний (в начале XX в. ценз для участия в собрании с правом голоса составлял, в зависимости от местности, от 125–250 до 400–500 дес.),

можно было отнести не более 30 тыс. семей [7]. Однако бóльшая часть дворянской земельной собственности была сконцентрирована в руках относительно небольшой группы лиц. К элите землевладельцев принадлежали 9 324 чел. Их владения превышали 1 тыс. десятин [8]. В 1905 г. им принадлежали 8,4 тыс. имений (7,9 % от общего количества дворянских имений) общей площадью 35,2 млн дес. (70,1 % от всей дворянской земельной собственности) [9]. В группу крупнейших землевладельцев (50 тыс. дес. и более) входили 155 чел. из 102 семей, в основном представители титулованной знати и родовитого дворянства, которые в начале XX в. владели 16,1 млн дес., что составляло 29,8 % от площади всех дворянских земель (54 млн дес.) [10].

Некоторая часть земельных владений российской аристократии пользовалась правами майората, законодательно закрепленными Положением о заповедных наследственных имениях в 1845 г. Заповедные имения признавались собственностью не одного владельца, а всего рода – они ни полностью, ни частично не могли отчуждаться, отдаваться в залог и выставляться на продажу. Владелец также не имел права обременять его долгами. Если же это происходило, то майорат, переходя в казенное управление, и в этом случае не подлежал продаже. Задолженность погашалась за счет доходов имения, а в случае смерти владельца его долг брала на себя казна, передавая наследнику майорат в сохраненном виде [11]. Для сравнения: австрийский закон 1868 г. о фидеикомиссах (аналогах российских майоратов) предусматривал долговые обременения на одну треть утвержденной судом стоимости имения [12].

По российскому закону право на обращение к императору с прошением об установлении майората давала земельная собственность площадью не менее 10 тыс. дес. и с годовым доходом не менее 12 тыс. руб. Так, в 1877 г. таких помещиков было всего 784 чел. (0,7 % от количества всех дворян-землевладельцев). Таким образом, этим правом могли воспользоваться только очень богатые землевладельцы. В 1899 г. указом Николая II порог был снижен до 5 тыс. дес. с годовым доходом не менее 6 тыс. руб. По данным на 1905 г., на установление майората могли бы претендовать 1 319 дворянских владений (1,2 % от числа всех дворянских имений), однако на практике в период с 1845 по 1905 г. было создано только 60 майоратов: с 1845 по 1870 г. – 17, с 1871 по 1888 г. – 13, с 1889 по 1898 г. – 25, с 1899 по 1905 г. – пять, а с 1906 по 1913 г. – 11. Всего к 1914 г. в Европейской России (без прибалтийских и польских губерний) насчитывалось около 150 майоратных владений общей площадью 3 338 875 дес. (1 463 268 дес. из которых приходилось на один майорат графа С.А. Строганова на Урале), что составляло 25–30 % от площади имений, имевших на это право, и только 10–15 % от площади всех дворянских земель [13]. В прибалтийских губерниях, где к 1909 г. существовало 266 заповедных владений (Fideikomisse) общей площадью 921,1 тыс. дес., показатели были выше – 18 % от числа дворянских имений и 27 % от площади дворянских земель в этом крае [14].

В группе крупнейших землевладельцев, помимо Строгановых, значительные площади были превращены в майораты в имениях графов Орловых-Давыдовых, Шуваловых, А.А. Мордвинова,

С.Д. Шереметева, князей Барятинских, М.А. Воронцова-Шувалова, С.С. Гагарина. В 1893–1903 гг. последний, например, преобразовал в майораты девять своих имений (общей площадью 63,4 тыс. дес.), что составило 42 % от всей площади его земельных владений (151 тыс. дес.). В 1895 г. граф И.И. Воронцов-Дашков (ему принадлежало 298,72 тыс. дес.) перевел в майорат только одно свое имение в Тамбовской губернии площадью 12,4 тыс. дес. [15] Князья Юсуповы и вовсе не прибегали к такой мере.

В целом в Европейский России (не учитывая прибалтийские и польские губернии) юридическую защиту от отчуждения имела относительно небольшая доля дворянских имений, и в отношении всех земель это составляло совершенно ничтожный процент. Для сравнения: в Австро-Венгрии и Германской империи (в землях Пруссии к востоку от Эльбы) уже в конце XIX в. право фидеикомиссов распространялось на крупные поместья, составлявшие около 10 % от всей частной земельной собственности. В 1885 г. в австрийских землях монархии Габсбургов насчитывалось 292 наследственных владения, подчинявшихся правилам фидеикомисса, 88 из которых были размером более 2 877 га, и, в отличие от России, их площадь составляла значительный процент от общего землевладения страны. Наиболее высокие показатели были в Моравии (8,1 %) и Богемии (11,2 %) [16]. Система фидеикомиссов в Пруссии пережила расцвет в период с 1867 по 1914 г. и пользовалась популярностью среди крупных землевладельцев как никогда ранее за свою долгую историю (в 1889 г. в семи восточных провинциях Пруссии защищенные наследственные владения составляли 6,21 % от всех земель) [17]. В 1895 г. в Пруссии насчитывалось в общей сложности 1 045 наследственных имений, 263 из которых превышали 2 тыс. га. Однако владельцами фидеикомиссов в прусских провинциях в тот период могли быть представители среднего класса, а не только аристократии. Соответственно, количество наследственных владений к 1913 г. выросло до 1 297, что составило 2 460 189 га [18].

Юридическая защищенность земельной собственности в ее майоратной форме предоставляла крупнейшим землевладельцам Российской империи, как и в случае немецкой и австро-венгерской аристократии, определенные гарантии, но не позволяла использовать бóльшую часть земельных площадей в рыночном обороте (в том числе в сфере ипотечного кредитования), что значительно сокращало возможность увеличения капитализации имений. С учетом того, что защищенные майоратным правом имения составляли относительно небольшую долю в земельной собственности богатейших российских аристократов, они не могли играть определяющую роль в процессе земельной мобилизации.

Среди крупнейших землевладельцев Российской империи (размеры владений более 50 тыс. дес.) из 155 личных собственников, или 102 семей, только шесть были недворянскими [19]. Из этих 102 семей 54 представляли титулованные русские, немецкие и польские аристократические фамилии. В этом же списке были родовитые дворянские семьи, не обладавшие титулами, как, например, Нарышкины, Шереметевы (нетитулованная ветвь), Балашовы, Всеволожские, Дурново, Раевские, Самарины, Струковы. Огромные комплексы земельных владений

площадью более 200 тыс. дес. принадлежали 19 семьям. Среди последних титулованными владельцами были граф С.А. Строганов (1 464 978 дес.), князь С.С. Абамелек-Лазарев (869 714 дес.), Демидовы, князья Сан-Донато (739 937 дес.), граф П.П. Шувалов (537,03 тыс. дес.), светлейший князь М.А. Воронцов-Шувалов (421 461 дес.), графы А.Д. и С.Д. Шереметевы (390,39 тыс. дес.), князь С.М. Голицын (384,73 тыс. дес.), князь К.Э. Белосельский-Белозерский (372 748 дес.), графы С.В. и А.В. Орловы-Давыдовы (321 437 дес.), граф И.И. Воронцов-Дашков (298,72 тыс. дес.), княгиня З.Н. Юсупова и князь Ф.Ф. Юсупов Сумароков-Эльстон (246,4 тыс. дес.), бароны В.В. и Г.В. Меллер-Закомельские (214 тыс. дес.) [20]

Если же рассматривать земельные владения аристократических династий в целом, можно сделать вывод, что их масштабы были еще более впечатляющими. Например, в числе крупнейших землевладельцев присутствует только один представитель рода Голицыных – князь Сергей Михайлович Голицын – благодаря его обширным владениям в Пермской губернии (345 344 дес.). В то же время, по неполным данным, к 1917 г. несколько семей этой многочисленной титулованной фамилии владели 538 294 дес. Таким образом, вне уральских губерний князьям Голицыным принадлежало 192 950 дес. [21] Среди них также преобладали крупные землевладельцы. Так, в 1900 г. князь Д.Б. Голицын владел богатейшими имениями Рожище (8 881 дес.) в Волынской губернии и Большие Вяземы (4 701 дес.) в Московской губернии [22].

Особенностью земельных владений российской аристократии, отражавшей историческую традицию их формирования, являлось то, что эти поместья не составляли единого комплекса в одной местности, а располагались в нескольких губерниях. Однако эти комплексы не были наследием исключительно «феодальной» эпохи. В результате имперской политики российского абсолютизма в XVIII–XIX вв. представители аристократии получили огромную выгоду, став владельцами обширных имений в присоединенных областях на юге и западе. Сельскохозяйственные имения в новороссийских и поволжских губерниях, на бывших землях Речи Посполитой к началу XX в. стали важнейшей составляющей благосостояния российской аристократии. В отличие от европейской аристократии или, например, польских землевладельцев в западных областях Российской империи (Потоцкие, Браницкие), чьи имения представляли собой единый территориальный комплекс (наследие европейской феодальной традиции), к 1914 г. русские титулованные помещики владели земельной собственностью, разделенной на несколько имений, расположенных в разных губерниях Европейской России и окруженных, как правило, крестьянскими надельными землями.

К началу XX в. количество имений некоторых фамилий было весьма значительным. Так, Воронцовым-Дашковым принадлежало 21 владение, Орловым-Давыдовым – 16, графу С.Д. Шереметеву – 26, графу А.Д. Шереметеву – 29, графине Н.А. Барятинской – восемь, князю С.С. Абамелек-Лазареву – 11, князю М.А. Воронцову-Шувалову – 12 [23]. К 1914 г. В.П. Кочубею принадлежало 18 имений в Черниговской и Полтавской губерниях [24]. К 1917 г. во владении нескольких семей многочисленной династии князей Голицыных

находилось более 60 имений [25]. В собственности князя К.Э. Белосельского-Белозерского было пять имений, в том числе обширное уральское владение [26].

В 1893 г. княгине З.Н. Юсуповой и ее мужу, князю Ф.Ф. Юсупову, графу Сумарокову-Эльстон, в совокупности принадлежало 291 628 дес. в 25 имениях [27]. К 1900 г. площадь этих владений несколько сократилась – до 246,4 тыс. дес., из них 215,2 тыс. дес. принадлежало княгине Юсуповой, а 31,2 тыс. дес. были собственностью ее мужа (всего 23 имения) [28]. В эмиграции князь Ф.Ф. Юсупов-младший вспоминал о своем детстве: «Иногда родители возили нас с братом на свои многочисленные заводы и земли, рассеянные по всей России; некоторые из них были настолько отдалены, что мы так дотуда и не добирались. Одно из этих владений, расположенное на Кавказе, простиралось на 200 километров по берегу Каспийского моря» [29]. Подробное описание поездок можно найти, например, в воспоминаниях князя С.С. Белосельского-Белозерского, чей отец, князь Сергей Константинович, к которому перешли вопросы управления обширными имениями семьи, в предвоенные годы часто посещал свои обширные владения, в том числе в уральских губерниях [30].

Оценивая степень концентрации частной земельной собственности в Европейской России, В.И. Ленин отмечал: «Нелегко найти в Европе и даже во всем мире страну, где сохранилось в таких чудовищных размерах крупное крепостническое землевладение» [31]. Действительно, для начала XX в. наличие крупных земельных комплексов, принадлежащих потомкам феодальной знати, было характерно для ряда стран, где влияние землевладельческой аристократии не утратило своего значения (Англия, Австро-Венгрия, Германия) [32]. Д. Каннадайн отмечал, что с точки зрения земельной площади к концу XIX в. аристократия владела большей частью Британских островов, что превышало владения любой элиты в какой-либо другой стране. В 1880 г. в Англии и Шотландии герцогу Сазерленду принадлежало 1 358 545 акров земли, герцогу Бакклю – 460 108, Гэвину Кэмпбеллу, 1-му маркизу Бредэлбейну, – 438 358, графу Сифилду – 305,93 тыс., герцогам Ричмондскому – 286 411, Девонширскому – 198 572, Нортумберлендскому – 186 379, Портлендскому – 183 199 [33]. Только в Восточной Европе, по оценкам английского историка, можно было обнаружить огромные земельные владения, принадлежавшие таким семьям, как Шереметевы и Юсуповы в России, а также Эстерхази, Шварценберги и Лихтенштейны в Австро-Венгрии, которые соперничали по площади с огромными «империями» Сазерлендов, Бредэлбейнов и Бакклю, а порой и превосходили их [34].

По подсчетам А.М. Анфимова, латифундии российских магнатов были в 2,8 раза крупнее прусских, а их общая площадь была в 7,7 раз больше латифундий Германии. Если в начале XX в. в России средний размер крупного имения оценивался в 592 дес. (а среди экономий от 1 тыс. дес. – 3 767 дес.), то в Германии подобные показатели составляли 159 и 1 350 га (или же 145,5 и 1 235,7 дес. соответственно) [35]. Действительно, все земельные владения, например, богатейшего прусского магната князя Гвидо Хенкеля фон Доннерсмарка к 1909 г. занимали площадь 27 496 га. Совокупные владения в Силезии князя Кристиана Крафта цу Гогенлоэ-Эрингена составляли 42 698 га.

Граф Франц Хуберт фон Тиле-Винклер владел 45 998 га [36]. Однако представителям богатейшего германского рода Турн-и-Таксис, владевшим поместьями в Баварии, Вюртемберге, Гогенцоллерн-Зигмаринген, Пруссии и Богемии, в 1895 г. принадлежало 1 237 765 га земли [37], с которыми в России могли сравниться только владения Строгановых.

В конце XIX в. в землях венгерской короны монархии Габсбургов более 2 тыс. магнатов, каждый из которых владел более чем 1,5 тыс. акров земли, в совокупности распоряжались почти одной четвертью всех пахотных земель. Одному только князю Морицу Эстерхази принадлежало 700 тыс. акров [38]. Анализируя данные по Венгрии за 1895 г., В.И. Ленин констатировал: «Четыре тысячи венгерских магнатов имеют свыше 1 000 десятин каждый, а все – почти треть земли. Как видите, это уже недалеко до “матушки России”» [39]. Сравнение Ленина можно применить и к австрийским землям короны Габсбургов (особенно Богемии и Моравии). В 1896 г. высшее дворянство (Hochadel) владело в Чехии более 1,1 млн га (160 случаев владения), что составляло 22,5 % от всей площади страны, а 11,4 % от всей площади страны находилось в руках всего лишь 14 крупных землевладельцев, во главе которых стояли князья Шварценберги, располагавшие более чем 100 тыс. га [40]. В 1906 г. среди крупных землевладельцев Чехии было 109 физических и юридических лиц, владения которых превышали 3 тыс. га, при этом 82 из них принадлежали «историческому дворянству» (параллель с российскими реалиями), 10 – «новому» дворянству, пять крупных имений – муниципалитетам, 11 – церкви и одно – обществу с гражданскими собственниками [41].

К 1914 г. крупнейшим частным земельным владением Австро-Венгрии являлось владение князя Эстерхази в Венгрии площадью 243,5 тыс. га. В старой Австрии (alten Österreich) князь Шварценберг занимал первое место с 207 тыс. га общей собственности. Только в Богемии князю принадлежало 176,4 тыс. га, или 3–4 % от площади страны. Следующим по размерам было владение князя Лихтенштейна площадью 184,3 тыс. га. Основные владения князя располагались в Моравии и занимали 109 тыс. га, или 5 % от территории страны. Общая площадь владений эрцгерцога Фридриха в монархии составляла 161,7 тыс. га, из них в Силезии – 64,3 тыс. га, или 13 % от площади страны. Земельный фонд личных и семейных владений Габсбургов составлял 109 тыс. га в Австрии и 40,9 тыс. га в Венгрии. Все остальные владельцы латифундий следовали за ними уже со значительным отрывом относительно площади их земель [42].

Динамика дворянского землевладения в России в 1861–1914 гг. достаточно хорошо изучена. Исследователи в первую очередь обращали внимание на то, что в течение этого периода площадь дворянских земель неизменно уменьшалась. По подсчетам Анфимова, площадь дворянских земель с 1861 по 1914 г. сократилась почти в два раза (с 79,1 млн до 42,6 млн дес.), но их стоимость, напротив, выросла в номинальном исчислении в пять раз (с 1 345 млн до 6 939 млн руб.) [43]. Подсчеты, проведенные Беккером, демонстрируют сокращение дворянских земель в 1862–1914 гг. с 87,2 млн до 41,1 млн дес. [44], при этом в 1863–1914 гг. дворянами было продано 99 851,6 тыс. дес. на сумму 5 033,4 млн руб.

Это составило, по подсчетам Н.А. Проскуряковой, 188 % от площади дворянского землевладения в 1905 г. (53,2 млн дес.) и 238 % от общей площади дворянских земель в 1915 г. (42 млн дес.). В то же время за пореформенный период дворяне приобрели 53 827,3 тыс. дес. земли на общую сумму 2 483,8 млн руб. [45] Таким образом, если бы само дворянство не выступало крупнейшим покупателем земли, оно давно утратило бы все земельные владения. Очевидно, что помещики не занимались пассивной распродажей уцелевших владений, а выступали на рынке земельной собственности как активные покупатели. Этот устойчивый интерес к приобретению земли можно рассматривать как одну из форм инвестиционной экономической стратегии.

В отличие от среднего и мелкого дворянства, стремительно расставшегося со своими поместьями, землевладение богатейших аристократов оказалось более устойчивым. В исследовании Анфимова можно найти многочисленные примеры крупных имений, остававшихся к 1914 г. в руках титулованной знати и сохранивших свои обширные площади [46]. В ходе исследования динамики количества и площади крупнейших помещичьих имений (свыше 5 тыс. дес. в одном массиве) Воронежской губернии за 1861–1905 гг. А.Н. Акиньшин пришел к выводу об их стабильности и устойчивости [47].

Согласно подсчетам Л.П. Минарик, с конца XIX в. по 1914 г. крупнейшие помещики Российской империи (владельцы более 50 тыс. дес.) потеряли около 0,5 млн дес. земли, или 3 % от площади своего прежнего землевладения [48]. Бóльшую часть этих земель богатейшие российские землевладельцы унаследовали от своих предков (14,5 млн дес. из 16,1 млн дес. на 1900 г.). Однако при этом за вторую половину XIX в. представителями этой группы было куплено 3,4 млн десятин [49].

В 1900–1914 гг. площадь владений крупнейших землевладельцев, безусловно, менялась в связи с изменениями законов наследования, практикой семейных разделов и другими обстоятельствами. Так, например, владения Юсуповых были несколько сокращены вследствие продажи части земель, но после гибели на дуэли старшего сына княжеской семьи Николая в 1908 г. единственным наследником всего состояния стал младший сын Феликс. Для сравнения: после смерти в 1905 г. графа А.В. Орлова-Давыдова его обширные владения были разделены между тремя сыновьями. Однако граф Воронцов-Дашков, напротив, практически удвоил свое состояние после 1903 г., когда его жена, графиня Елизавета Андреевна (урожд. Шувалова), унаследовала 210,7 тыс. дес. от своего умершего брата, графа М.А. Шувалова: площадь его владений увеличилась с 298,7 тыс. до 509,4 тыс. дес. [50]

Граф С.А. Строганов, не имевший наследников, передал права на наследство своему племяннику, князю О.А. Щербатову, сыну своей сестры Ольги Александровны и ее мужа, князя Александра Григорьевича Щербатова. Однако после его неожиданной кончины в 1915 г. наследником был объявлен Георгий Александрович Щербатов (1897–1953), младший сын Щербатовой [51]. Предполагалось, что Георгий будет изучать металлургию в Санкт-Петербургском политехническом институте, чтобы приобрести необходимые знания и в дальнейшем руководить

сталелитейными заводами на Урале [52]. Со временем эта семья, владевшая обширными имениями (50,73 тыс. дес.), могла стать самым крупным частным землевладельцем императорской России.

Процесс мобилизации земель во владениях богатейших российских аристократов в 1890–1914 гг. носил динамичный характер, зависевший от стратегии по увеличению капитализации имений. Очевидно, что в каждом случае продажа или покупка земель определялась целым комплексом факторов: качеством почв, конъюнктурой местных рыночных цен на землю, географическим расположением, возможностью эффективного инвестирования и пр. Крупнейшие землевладельцы не только продавали земли (на чем, как правило, фокусировалось внимание исследователей), но и выступали покупателями земельной собственности, о чем свидетельствуют документы вотчинного делопроизводства.

Так, согласно данным Главной конторы графа С.Д. Шереметева, за 1903–1915 гг. на покупку новых земель было потрачено 118,4 тыс. руб. Ранее, в 1898 г., за 315 тыс. руб. Шереметев приобрел имение Остафьево в Московской губернии и за 50 тыс. руб. – Кучук-Дере в Черноморской губернии. В 1900 г. для сына владельца было куплено имение Гавронцы в Полтавской губернии. Ранее, в 1870 г., за 40 тыс. руб. Шереметев купил имение Михайловское в Московской губернии. К 1890 г. в качестве приданого для двух дочерей им были приобретены усадьбы Вороново и Введенское в Московской губернии. По некоторым данным, в 1898–1915 гг. Шереметев потратил на покупку земель 550 тыс. руб. [53]

В 1863, 1872 и 1884 гг. граф Воронцов-Дашков приобрел крупные угодья к своему Тепловскому имению в Саратовской губернии, площадь которого в 1890-е гг. достигла почти 42 тыс. дес. [54] В 1900-е гг. он купил имения Степань (32 116 дес.) в Волынской губернии и Шапки (18 786 дес.) в Санкт-Петербургской губернии [55].

В своей переписке в 1893 г. с управляющим имениями князь В.И. Барятинский подробно обсуждал вопросы купли-продажи земли. Так, предполагалось приобрести имение некоего г. Штейна, находившееся близ деревенской экономии Барятинских. В то же время помещик Евреинов предлагал купить у Барятинского Нижегородское имение, располагавшееся рядом с его сахарным заводом, за хорошую цену. Полученные средства должны были быть направлены на приобретение имения Штейна [56]. В 1896 г. Барятинский также приобрел у князя Любомирского три имения в Волынской губернии: Иванье (10 444 дес.), Дубно (14 096 дес.) и Речицы (11 715 дес.) [57].

В 1900-е гг. князь Д.Б. Голицын приобретал имения, которые впоследствии выгодно продавал. Так, сохранились письма его доверенного лица Граве за 1902–1913 гг., в которых содержалась информация о денежных операциях по купле-продаже имений. В числе крупных покупок князя Голицына этого периода были имения Гиевка в Харьковской губернии и Сарны. Последнее было приобретено в 1912 г. и продано через два года [58]. В 1890-е гг. князем Н.Н. Гагариным были куплены имения в Камышинском уезде Саратовской губернии (5 149 дес.) и в Новоузенском уезде Самарской губернии (3 тыс. дес.) [59].

В 1896 г. в поисках свободных капиталов для своих уральских предприятий граф П.П. Шувалов продал имения Софьинское и Завьяловское общей площадью около 56 тыс. дес., перешедшие в собственность другого аристократа – князя П.М. Волконского [60].

В 1880-е гг. граф А.В. Орлов-Давыдов приобрел ряд имений: Ново-Покровское (бывшее собственностью князя Д.П. Волконского), Ново-Петровское в Тамбовской губернии и Глоднево в Орловской губернии [61]. В письме главноуправляющего А.А. Орлова-Давыдова И.И. Брюханова от 12 июля 1888 г. сообщалось о приобретении крупного имения графини Л.А. Мусиной-Пушкиной в Дмитровском уезде Орловской губернии площадью 16 тыс. дес. [62] Глодневское имение было куплено графом Орловым-Давыдовым за 525 тыс. руб. [63] В мае 1891 г. в своем дневнике граф отмечал, что «прикупает» около 1 тыс. дес. земли к Ново-Покровскому имению Тамбовской губернии у купца Давыдова [64]. В инструкции, данной ревизору имений графа Орлова-Давыдова А.А. Стейну в 1893 г., отражены вопросы, связанные с покупкой земель. Так, в Глодневском имении ему поручалось осмотреть предложенное к продаже имение купца М.М. Воробьева (графа в первую очередь интересовала доходность находившихся в этом имении перерабатывающих заводов). В Богословском имении ревизор должен был также осмотреть предлагаемые к покупке соседние имения при сс. Гниловом и Богородицком князя Салтыкова площадью 1,2 тыс. дес. и Матвеева при с. Парашино площадью 2,65 тыс. дес. [65]

Продавая часть своих владений, богатейшие российские аристократы увеличивали площади отдельных имений – как правило, наиболее перспективных с точки зрения организации высокодоходного сельскохозяйственного производства. Так, Ново-Покровское имение графов Орловых-Давыдовых, в котором велось хорошо организованное хозяйство, увеличило свою площадь: в 1885 г. – 7 014 дес., в 1891 г. – 10,23 тыс. дес., в 1912 г. – 11 411 дес. [66] Графы Бобринские, владельцы обширного имения Смела в Киевской губернии (44 386 дес. в 1913 г.), с 1880-х гг. увеличивали площадь путем покупки у разных лиц отдельных участков. С 1885 по 1911 г. в общую собственность владельцев было приобретено 7 537 дес.: в 1885 г. – 1,4 тыс. дес., в 1905 г. – 3 365 дес., в 1910 г. – 798 дес. В личную собственность графа Л.А. Бобринского с 1904 по 1911 г. было приобретено также 6 311 дес. Таким образом, за 1885–1914 гг. площадь Смелянского имения Бобринских увеличилась на 13,8 тыс. дес., то есть почти на 30 % [67].

Динамика землевладения князей Юсуповых в 1890–1914 гг. наиболее показательна с точки зрения мобилизации земельной собственности в группе крупнейших землевладельцев Российской империи. К 1900 г. этой аристократической семье принадлежало 236,03 тыс. дес. [68] В последующие годы (1900–1914 гг.) часть своих землевладений Юсуповы перевели в денежные капиталы, вложив их в банковские и акционерные фонды. По данным на 1 января 1913 г., количество земли во владении семьи составляло примерно 185 тыс. дес. [69] Таким образом, площадь земельных владений Юсуповых в 1900–1914 гг. сократилась на 20 %. Однако к 1 сентября 1916 г. она увеличилась до 189 355 дес. [70]

Как и многие другие крупнейшие российские землевладельцы, в 1890–1914 гг. Юсуповы продали больше земли, чем приобрели. Однако в этом прослеживалась вполне рациональная стратегия: часть ценных земель переходила в руки соседних крестьянских общин, но владельцы получали свободные денежные средства. Посредством покупки земель Юсуповы расширяли площадь своих наиболее прибыльных экономий и во многом нивелировали недостатки неудачных разделов помещичьих и крестьянских владений, осуществленных еще в 1861 г. В 1890-е гг. Юсуповы приобрели Дальне-Лыковский лес (5 387 дес.) и Каменный бор (414 дес.) в Нижегородской губернии, а также Масленники (414 дес.) в Ярославской губернии. В 1908 г. было куплено имение Коккоз в Крыму площадью 3 395 дес. [71]

В целом объем продаж земельной собственности превосходил объем ее приобретения. В 1901 г. Юсуповыми было продано частями Афанасьевское имение – участок Пьяново некоему А.Е. Поварскому и нескольким крестьянам. В июле 1902 г. было продано Карповское имение почетному гражданину Воронину за 725 тыс. руб., а в 1902–1903 гг. состоялась крупная операция по продаже большей части Ровенецкого имения в Области Войска Донского. Земля имения была продана крестьянам с помощью ссуды Азовско-Донского банка Греко-Вышловецкому товариществу и девяти сельским обществам за 831 230 руб. Часть имения продавалась через другие банки. В те же годы Юсуповы продали часть Ракитянского имения Крестьянскому банку на сумму 109 677 руб. [72] Только за 1908 г. Юсуповы распродали в нескольких своих владениях 13 649 дес. за 2 139 666 руб. [73], то есть за сумму, равную примерно десятой части стоимости всей их собственности.

При этом операции по купле и продаже земли Юсуповы осуществляли параллельно. Так, в 1900 г. три участка земли (1 230, 2 919 и 1 188 дес.) в Нижегородской губернии и четыре участка (41, 8, 414, 3 дес.) были куплены к Корсунскому имению – всего, таким образом, 5 805 дес. на сумму 93 079 руб. В течение указанного года было продано 12 участков в Корсунском имении в 1 533 дес. на сумму 55,5 тыс. руб., а также отдельные участки в разных имениях (819 дес.), что составило 90 216 руб. [74] В 1903 г. Юсуповы приобрели у помещицы Е.Н. Изъединовой имение Каменный двор в Курской губернии (1,7 тыс. дес.) за 314,05 тыс. руб. и 580 дес. у дочери коллежского асессора А.Н. Лебедевой в Нижегородской губернии за 4,25 тыс. руб. [75]

Сохранились сведения о земельных операциях Юсуповых в Веселовском имении Воронежской губернии. В 1903 г. они приобрели смежную Серебрянскую дачу в 1 669 дес. по цене около 200 руб. за десятину, однако вследствие «чрезвычайно упорного ходатайства смежных крестьянских обществ» княгиня З.Н. Юсупова разрешила продать наиболее удаленную часть этой дачи худшего качества площадью 1,25 тыс. дес. при участии Курского отделения Крестьянского поземельного банка за покупную стоимость. Но банк признал цену слишком высокой и в ссуде крестьянам отказал. Сделка не состоялась. Впоследствии управляющий Веселовского имения по особому разрешению владельцев продал отдельным крестьянам без участия банка за наличный расчет 50 дес. по 300 руб. за десятину. Другую часть Веселовского имения – Малиновскую лесную дачу в 223 дес., проходившую узкой

полосой между усадьбами трех селений, – из-за значительных трат на лесоохранение владельцы посчитали целесообразным также продать смежным крестьянам при участии Воронежского отделения Крестьянского банка. Банк не принял в расчет оценки стоимости леса, поэтому администрация имения сначала вынуждена была продать лес, а затем частями распродать крестьянам землю по 120 руб. за десятину. С учетом продажи леса эта сделка принесла Юсуповым доход из расчета 475 руб. за десятину [76].

К 1914 г. крупные имения, принадлежавшие титулованным владельцам Российской империи, доминировали в составе дворянской земельной площади, и, несмотря на то что они, как правило, не представляли единого земельного комплекса, по абсолютной площади своих владений российские аристократы находились в первых рядах крупнейших земельных собственников Европы. Наличие крупных земельных владений являлось важнейшим признаком высокого социального статуса представителей дворянской элиты, воплощением исторической и семейной традиций. Земельные владения оставались одним из главных источников дохода русской аристократии. В то же время существовала тенденция перевода части земельных капиталов в банковские и промышленные капиталы, что достигалось за счет продажи части земельных владений. Как и дворянское землевладение, крупные земельные комплексы аристократии также сокращались, но более медленными темпами.

Очевидно, что к 1914 г. крупнейшие землевладельцы Российской империи добились консолидации своих владений. Получив при продаже земель значительные денежные суммы, они могли инвестировать свободный капитал как в несельскохозяйственные фонды, так и в реорганизацию сельскохозяйственных экономий, значительно повышая их капитализацию и, соответственно, рыночную цену. Российские аристократы также выступали на земельном рынке как активные покупатели. Таким образом, к 1914 г. сохранение в руках российской титулованной аристократии обширных земельных владений только частично объяснялось данью традиции и пережитками крепостной эпохи, но в значительной мере было связано с теми экономическими возможностями, которые предоставило крупным земельным собственникам вступление российского капитализма в индустриальную стадию.

Примечания

1. MENSION-RIGAU E. Aristocrates et grands bourgeois: education, traditions, valeurs. Paris. 1994, p. 154–155.
2. Россия. 1913 год: Статистико-документальный справочник / Сост.: А.М. Анфимов, А.П. Корелин. СПб. 1995, с. 71.
3. PILBEAM P.M. The Middle Classes in Europe. 1789–1914: France, Germany, Italy and Russia. London. 1990, p. 68–69.
4. CHARLES CH. La crise des sociétés impériales. Allemagne, France, Grande-Bretagne. 1900–1940: Essai d`histoire sociale comparée. Paris. 2001, p. 135.
5. КОРЕЛИН А.П. Дворянство в пореформенной России 1861–1904 гг.: состав, численность, корпоративная организация. М. 1979, с. 67.
6. БЕККЕР С. Миф о русском дворянстве: дворянство и привилегии последнего периода императорской России / Пер. с англ. яз. Б. Пинскера. М. 2004, с. 298.

7. КОРЕЛИН А.П. Объединенное дворянство (1906–1917). В кн.: Проблемы социально-экономической и политической истории России XIX–XX вв.: Сб. статей памяти В.С. Дякина и Ю.Б. Соловьева / Отв. ред. А.Н. Цамутали. СПб. 1999, с. 348.
8. ПРОСКУРЯКОВА Н.А. Земельные банки Российской империи. М. 2002, с. 103.
9. КОРЕЛИН А.П. Поместное дворянство: землевладение и хозяйство. В кн.: Многогранный талант историка: памяти доктора исторических наук, профессора Авенира Павловича Корелина / Отв. ред. Ю.А. Петров. М. 2019, с. 571.
10. МИНАРИК Л.П. Экономическая характеристика крупнейших земельных собственников России конца XIX – начала XX вв. М. 1971, с. 75.
11. Полное собрание законов Российской империи. 2-е изд. (ПСЗ 2). Т. 20. Отд. 1. 1845 г. № 19 202, с. 528–538.
12. MEDINGER W. Grossgrundbesitz fideikommiss und agrarreform. Wien–Leipzig. 1919, S. 65.
13. АНФИМОВ А.М. Майоратное землевладение в царской России. – История СССР. 1969. № 5, с. 156–158; БЕККЕР С. Ук. соч., с. 114–115, 142–143.
14. АНФИМОВ А.М. Крупное помещичье хозяйство Европейской России (конец XIX – начало XX вв.). М. 1969, с. 42.
15. ЕГО ЖЕ. Майоратное землевладение…, с. 156–158.
16. MEDINGER W. Op. cit., S. 66.
17. HEß K. Junker und Bürgerliche Großgrundbesitzer im Kaiserreich: Landwirtschaftlicher Großbetrieb, Großgrundbesitz und Familienfideikommiß in Preußen (1867/71–1914). Stuttgart. 1990, S. 314.
18. MEDINGER W. Op. cit., S. 69.
19. МИНАРИК Л.П. Ук. соч., с. 13–21, 75–76; КОРЕЛИН А.П. Дворянство в пореформенной России…, с. 67.
20. МИНАРИК Л.П. Ук. соч., с. 13–19.
21. The Princes Galitzine: Before 1917 and Afterwards. Washington. 2002, p. 827–828.
22. Российский государственный архив древних актов (РГАДА), ф. 1263, оп. 11, ед. хр. 90, л. 1–2; The Princes Galitzine: Before 1917 and Afterwards…, p. 200.
23. АНФИМОВ А.М. Крупное помещичье хозяйство…, с. 30.
24. Краткое описание имений церемониймейстера высочайшего двора, действительного статского советника Василия Петровича Кочубея, расположенных в Полтавской, Черниговской, Киевской и Петроградской губерниях. Киев. 1914, с. 3–4.
25. The Princes Galitzine: Before 1917 and Afterwards…, p. 827–828.
26. МИНАРИК Л.П. Ук. соч., с. 52.
27. РГАДА, ф. 1290, оп. 5, ед. хр. 223, л. 27об.
28. МИНАРИК Л.П. Ук. соч., с. 19.
29. ЮСУПОВ Ф. Перед изгнанием. 1887–1919 / Пер. с. фр. О. Эдельман. М. 1993, с. 49.
30. Memoires of Prince Serge Sergeevitch Belosselsky-Belozersky. Paris. 1981, p. 23.
31. ЛЕНИН В.И. Полное собрание сочинений. Т. 23. М. 1973, с. 275.
32. WASSON E. Aristocracy and the Modern World. NY. 2006, p. 17–26.
33. CANNADINE D. The Decline and Fall of the British Aristocracy. London–New Haven. 1990, p. 710–711; The Great Landowners of Great Britain and Ireland. London. 1883, p. 55.
34. CANNADINE D. Op. cit., p. 18–19.
35. АНФИМОВ А.М. Крупное помещичье хозяйство…, с. 25.
36. MARTIN R. Jahrbuch des Vermögens und Einkommens der Millionäre in Preußen. Berlin. 1912. T. 2, S. 13–43.
37. ЛИВЕН Д. Аристократия в Европе. 1815–1914 / Пер. с англ. под ред. М.А. Шерешевской. СПб. 2000, с. 55.
38. КОНТЛЕР Л. История Венгрии. Тысячелетие в центре Европы / Пер. с англ. М. 2002, с. 394.
39. ЛЕНИН В.И. Ук. соч. Т. 23, с. 378.
40. STEKL H. Zwischen Machtverlust und Selbstbehauptung. Österreichs Hocharistokratie vom 18 bis ins 20 Jahrhundert. In: Europäischer Adel. 1750–1950. Göttingen. 1990, S. 160.
41. BEZECNÝ Z. Příliš uzavřená společnost. Orličtí Schwarzenbergové a šlechtická společnost v Čechách v druhé polovině 19 a na počátku 20 století. České Budějovice. 2005, s. 32.
42. MEDINGER W. Op. cit., S. 31–32; JUŘÍK P. Jihočeské dominium. Rožemberkové, Eggenbergové, Schwarzenbergové a Buquoyové v jižních Čechách. Praha. 2008, s. 227.

43. АНФИМОВ А.М. Крупное помещичье хозяйство…, с. 358.
44. БЕККЕР С. Ук. соч., с. 51.
45. ПРОСКУРЯКОВА Н.А. Ипотека в Российской империи. М. 2014, с. 509–510.
46. АНФИМОВ А.М. Крупное помещичье хозяйство…, с. 350–351.
47. АКИНЬШИН А.Н. Крупные помещичьи имения в Воронежской губернии в 1861–1905 гг. В кн.: Российское дворянство в XIX – начале XX в.: М-лы науч. семинара. Рязань. 2009, с. 42–43.
48. МИНАРИК Л.П. Ук. соч., с. 37.
49. Там же, с. 75.
50. Там же, с. 14; ИСМАИЛ-ЗАДЕ Д.И. И.И. Воронцов-Дашков – администратор, реформатор. СПб. 2008, с. 47.
51. КУЗНЕЦОВ С.О. Сергей и Ольга Строгановы. Перипетии жизни аристократических жителей села Волышево. В кн.: Краеведческие чтения: Порхов – Холомки: М-лы науч. конф. (Порховский район, Псковская обл., 20–21 декабря 2002 г.) Псков. 2003, с. 186.
52. МЕТТЕРНИХ Т.И. Строгановы: история рода. СПб. 2016, с. 212.
53. ГРУЗИНОВ А.С. Рост капиталов графа С.Д. Шереметева на рубеже XIX–XX вв.: результат хозяйственной деятельности владельца или «паразитической» переоценки стоимости принадлежащих ему земель? В кн.: Многогранный талант историка: памяти доктора исторических наук, профессора Авенира Павловича Корелина…, с. 253–254.
54. ТУШКАНОВ И.В. Тепловское имение графа И.И. Воронцова-Дашкова как пример крупного сельского предпринимательского хозяйства Нижнего Поволжья 1880–1890-х гг. — Известия Волгоградского государственного педагогического университета. 2016. № 8 (112), с. 236.
55. МИНАРИК Л.П. Ук. соч., с. 60.
56. Отдел письменных источников Государственного исторического музея (ОПИ ГИМ), ф. 342, оп. 1, ед. хр. 4, л. 68–68об.
57. МИНАРИК Л.П. Ук. соч., с. 61.
58. ВОЛЫНСКАЯ Н.М. Экономическое положение усадьбы Вяземы в конце XIX – начале XX в. и хозяйственная деятельность ее последнего владельца, князя Д.Б. Голицына (по материалам РГАДА). В кн.: Захарово – Вяземы: Сб. м-лов науч.-практ. конф. «Пушкинский музей-заповедник: проблемы музеефикации» (Большие Вяземы, 1995 г.). Можайск. 1995, с. 72.
59. МИНАРИК Л.П. Ук. соч., с. 64.
60. Там же, с. 48.
61. Там же, с. 57.
62. ЕРОФЕЕВА Г.И. Владения графов Орловых-Давыдовых в Орловской губернии (по неопубликованным источникам). — Вестник Брянского государственного университета. Сер.: Исторические науки и археология. 2021. № 2 (48), с. 53.
63. Там же, с. 54.
64. ОПИ ГИМ, ф. 166, оп. 2, ед. хр. 42, л. 60.
65. Научно-исследовательский отдел рукописей Российской государственной библиотеки, ф. 219, к. 4, ед. хр. 50, л. 2–3.
66. ЖИТИН Р.М. Некоторые особенности экономики крупного помещичьего хозяйства в конце XIX – начале XX вв. (по м-лам Ракитянского имения Юсуповых и Ново-Покровского имения Орловых-Давыдовых). В кн.: Ежегодник по аграрной истории Восточной Европы. 2018 год: итоги и перспективы исследования аграрной истории России X–XXI вв. М.—Брянск. 2018, с. 155.
67. Смела: Краткое статистико-экономическое описание имений и заводов графов Льва Алексеевича, Алексея, Андрея и Георгия Александровичей Бобринских в Киевской губернии для Всероссийской выставки 1913 г. в Киеве. Киев. 1913, с. 11–12.
68. РГАДА, ф. 1290, оп. 5, ед. хр. 377, л. 8.
69. Там же, ед. хр. 940, л. 9–12; ед. хр. 1003, л. 45.
70. Там же, ед. хр. 1136, л. 2.
71. АНФИМОВ А.М. Крупное помещичье хозяйство…, с. 286–287.
72. РГАДА, ф. 1290, оп. 5, ед. хр. 391, л. 1, 11, 30–36, 50.
73. Там же, ед. хр. 652, л. 1–3об.
74. Там же, ед. хр. 345, л. 3–4.
75. Там же, ед. хр. 391, л. 56, 60.
76. Там же, ед. хр. 4757, л. 14–14об.

УДК 93/94
DOI: 10.1017/
S0001972025101216
Статья поступила в редакцию 18.05.2026
Статья принята в печать 09.06.2026

Перемещения предметов и людей: следы истории, соединяющие миры Африки, Атлантики и Индийского океана

Н. Джейчандран

Аннотация. Цель статьи – расширить эпистемологические границы Индийского океана, рассмотрев различные примеры, которые связывают африканский и индийский миры с помощью предметов, средств общения и нетрадиционных путей обмена. Так как история торговли, миграции и товарооборота между Индией и Африкой, а также вдоль западного побережья Индийского океана хорошо изучена, мы посвятили статью мелким транснациональным взаимодействиям, которые заставляют нас переосмыслить афроиндийские обмены. Другими словами, мы прослеживаем перемещение объектов, чтобы подчеркнуть нелинейную мобильность, другие сети и ризоматические образы Африки и Индии, которые связывают удаленные друг от друга места и практики. Во-первых, мы рассматриваем прибытие африканских святых в Западную Индию до Нового времени и их историю, которая переплетена с доколониальными империями и работорговлей в Индийском океане. Предметы торговли и культа, относящиеся к этим святым, связывают их с районами обмена в Мисре (Египет), Аль-Хабаше (Эфиопия) и Нубии (Судан и долина Нила), которые являются важными узлами, соединяющими Западную Африку и Индийский океан посредством сложных транссахельских сетей торговцев, паломников и рабов. Затем мы рассмотрим оборот товаров, таких как бусы, текстиль и зонтики, которые производились в Индии для рынков Западной Африки в период трансатлантической работорговли, и покажем, как колониальные трансконтинентальные сети использовали предметы из бассейна Индийского океана для поддержки своих атлантических предприятий посредством сложной системы товарообмена. Главная цель статьи состоит в том, чтобы продемонстрировать, как малоизученные процессы движения и трансконтинентальные перемещения раскрывают смешанную и многоплановую историю африканской Атлантики и Индийского океана.

Ключевые слова: Африка, Индийский океан, Атлантический океан, транснациональные перевозки, перемещение предметов и людей, товарные биржи.

Джейчандран Нелима – доцент кафедры африканского искусства и визуальных культур, факультет истории искусств, Университет Содружества Виргинии. Ричмонд. США; Национальная библиотека Катара. Катар.
E-mail: jeychandrann@vcu.edu.

Transits of objects and people: traces of histories that connect the Africana Atlantic and Indian Ocean worlds

N. Jeychandran

Abstract. This article aims to expand the epistemological limits of the Indian Ocean by examining distinct examples that link the African and Indian worlds through objects, media and unconventional trajectories of exchange. While the histories of trade, migration and the circulation of objects between India and Africa, and along the western Indian Ocean rim, have been studied extensively, this article focuses on minor transnational circulations that compel us to reimagine African-Indian exchanges. In other words, I trace the transits of objects to emphasize non-linear mobilities, other networks, and rhizomatic imaginations of Africa and India that connect distant places and practices. First, I look at the arrival of African saints in western India during pre-modern times and their intertwined histories with precolonial empires and the Indian Ocean slave trade. Trade items and ritual objects associated with these saints connect them to terrains of exchange in the Misr (Egypt), Al-Habash (Ethiopia) and Nubia (Sudan and Nile Valley) regions, all important nodes that linked West Africa and the Indian Ocean through complex trans-Sahelian networks of traders, pilgrims and enslaved people. I then examine the circulation of trade goods, such as beads, textiles and umbrellas, that were produced in India for West African markets during the transatlantic slave trade, illustrating how colonial transcontinental networks used objects from the Indian Ocean to support their Atlantic enterprises through a complex system of commodity exchanges. The central objective is to demonstrate how lesser-known processes of circulation and transversal ontologies reveal the fraught and interconnected histories of the Africana Atlantic and Indian Ocean universe.

Key words: Africa, Indian Ocean, Atlantic Ocean, transnational circulations, transits of objects and people, commodity exchanges.

Jeychandran Neelima – assistant professor of African Arts and Visual Cultures in the Department of Art History, Virginia Commonwealth University. Richmond. USA; Qatar National Library. Qatar.
E-mail: jeychandrann@vcu.edu.

Оригинал статьи:
Africa. 2025. Vol. 95. Iss. 3, p. 258–277
URL: https://www.cambridge.org/core/journals/africa/article/transits-of-objects-and-people-traces-of-histories-that-connect-the-africana-atlantic-and-indian-ocean-worlds/ED5981A2BF2D235399AF36112095D78A

Движение людей с различными товарами через Индийский океан и по транссахарским торговым маршрутам исторически формировало афроиндийские отношения и помогало сообществам, живущим вдали от прибрежных районов Африки и Индии, получать представления друг о друге. Еще в эпоху, предшествовавшую Новому времени, те или иные места в Африке были связаны со множеством других мест, а предметы служили важными источниками знаний об Африке и Индии. В статье рассматриваются различные пути, товары и агенты, которые связывали мир Индийского океана с Западной Африкой и Африкой к югу от пустыни Сахара в разные исторические периоды, чтобы понять, как встречи с различной средой создают многогранные аспекты взаимосвязей между Африкой / африканским и Индией / индийским. Чтобы исследовать долгую историю *(longue durée)* связей, сформированных с помощью предметов, мы рассматриваем прибытие африканских святынь в Западную Индию в период до Нового времени и их последующую историю, вплетенную в предметы торговли, которые связывают эти святыни с территориями обмена в Мисре, Аль-Хабаше и Нубии, являющимися важными узлами транссахарской торговли, распространяющейся в Западную Африку. Далее мы проанализируем колониальный оборот товаров, таких как бусы, текстиль и зонтики, произведенных в Индии для рынков Западной Африки во времена трансатлантической работорговли, и покажем, как трансконтинентальные сети связывали мировое рабство в Атлантике с Индийским океаном посредством сложной системы товарообмена. Наконец, мы исследуем превращение некоторых из этих товаров в предметы, наделенные властью, престижем и ритуальной ценностью, чтобы обсудить, как указанные предметы, перепрофилированные по назначению, отражают отношения Африки с Индией, поскольку с ними связаны конкретные места и воспоминания.

Хотя соответствующие тематические исследования отличаются друг от друга в пространственно-временном отношении, охватывая период с доколониальных до постколониальных времен, и затрагивают различные виды деятельности и объекты, они очерчивают сферу исследования, необходимую для изучения взаимоотношений Индии с регионами Западной Африки и Африки к югу от Сахары. Эти убедительные примеры связей Индии (ризоматических, неясных, океанических, сухопутных) с Африкой также раскрывают нам сенсорные способы, с помощью которых люди знакомились с мирами Африки и Индийского океана, независимо от прямых контактов и путешествий. Эта двойственность одновременно усложняет наше понимание термина «афроиндийские отношения», или «отношения между Африкой и Индией». Цель составления карты афроиндийских связей, сформированных материалами, факторами неантропогенного свойства и документально не зафиксированными процессами, состоит в том, чтобы

продемонстрировать, что афроиндийское сходство создавалось и воссоздавалось посредством сложных материальных операций до Нового времени. Когда мы исследуем историю миграции африканцев в Индию, наряду с товарообменом между Индией, странами Африканского Рога и Западной Африкой, мы наблюдаем не только сложные связи между материальными благами и передвижениями, но и некое вмешательство, когда культурные ценности и силы влияют на формирование афроиндийских отношений до и после создания империй и во время всего процесса глобализации.

В то время как сети и системы обмена через Индийский океан на протяжении веков соединяли Индию с портами Восточной Африки, странствующие путешественники и предметы, которые те перевозили по сахельским маршрутам, способствовали установлению ранних связей с регионами к югу от пустыни Сахара, хотя и незначительных по масштабам. Такие ученые, как Ральф Остин [1] и Гислен Лайдон [2], исследуя караванную торговлю и сложные системы товарообмена в Сахаре, подчеркивали экспансию транссахарской торговли, которая процветала с распространением ислама. Территория Сахеля и проходящие по ней маршруты стали важными транзитными воротами для товаров из Индийского океана. Так, транснациональный оборот индийских товаров, например бус, через порты Красного моря в центры стран к югу от Сахары стал жизненно важным для формирования афроиндийского образа для сообщества лиц африканского происхождения в Индии. Прибытие в Гуджарат африканских колдунов и торговцев бусами из регионов к югу от Сахары ставит под сомнение известную историю афроиндийского взаимодействия, осуществляемого через порты в регионе распространения суахили с помощью торговых диаспор, таких как гуджаратцы и хадрамиты. Эти миграции африканских торговцев бусами также способствовали появлению новых локаций за пределами прибрежных районов, демонстрируя тем самым взаимосвязь Индийского океана с внутренними торговыми центрами Африки. История распространения бус из Гуджарата в Африке и ассоциация по добыче агатов и изготовлению бусин в Камбее с участием африканских религиозных деятелей представляют собой транснациональные отношения «от малого к малому» [3], которые поддерживаются представителями меньшинств. С одной стороны, прибытие африканских колдунов и предпринимателей в Западную Индию и приток индийских материальных ценностей в африканский мир привели к тому, что люди на обоих континентах получили представление об отдаленных местах с помощью различных предметов и практик. С другой стороны, целый комплекс афроиндийских взаимодействий культивировался с помощью ритуального труда, повседневной деятельности, искусства, перформансов и повествования.

Можно утверждать, что афроиндийские отношения и их родство определяются не только империей или национальными государствами; они также были и остаются под влиянием людей и их стремления к культурному потреблению, художественному отдыху, пространственному воображению и созданию смыслов. В этом плане эмоциональные союзы формируются благодаря

опыту взаимодействия и знакомству с вещами, представляющими интерес для всех: текстиль, популярная культура, религиозные практики и тексты, а также путем заимствования и адаптации различных материалов и культурных фрагментов. Социальные связи, поддерживаемые предметами и другими средствами информирования, долгое время способствовали эмоциональной солидарности индийцев и африканцев, поскольку они использовали, создавали и меняли средства информирования согласно их рыночной стоимости, культурным потребностям и вкусам [4]. Подобные афроиндийские отношения обретают смысл, поскольку люди воспринимают друг друга с помощью материальных, перформативных и эстетических средств, и эту эмоциональную солидарность, как утверждают Жан-Франсуа и Джейчандран, необходимо анализировать за рамками имперских и постколониальных автономных сетей [5].

Иными словами, сфокусировавшись на передаче товаров, идей и практик, мы репрезентуем различные живые примеры афроиндийского взаимодействия и маленькие истории эмоциональных связей, отходя, таким образом, от обсуждения афроиндийской солидарности в сферах неприсоединения, политической экономии и даже диаспоры, чтобы показать другие пути взаимодействия Африки и Индии, с особым акцентом на связи Западной Африки с Индийским океаном и Западной Индией. При этом мы не беремся отвечать на такие вопросы, как «что является африканским или индийским в Индийском океане и Атлантическом океане», и не затрагиваем вопрос о том, как Африка сливается, сосуществует с Индией или становится ее союзником. Скорее мы показываем издавна игнорируемые истории циркуляции, которые тесно связывали отдаленные географические регионы во времена доколониальных империй, колониализма и постколониального глобального Юга. Кроме того, соединяя Атлантику с Индийским океаном, мы не собираемся сглаживать шероховатую историю колониализма, рабства и практики африканских диаспор в этих двух пространствах, потому что Индийский океан отличается от глобального афроатлантического пространства. Более того, изучая историю сиди (африканская диаспора в Индии. — *Прим. пер.*), мы рассматриваем эти общины как общины африканского происхождения и/или людей африканского происхождения, а не как африканскую диаспору, поскольку данные этнические группы уходят корнями в свои региональные культуры и могут по праву считаться афроиндийскими общинами, которые сохраняют некоторое наследие африканского прошлого, проникнуты культурными воспоминаниями стран Индийского океана и выборочно перепрофилируют их в соответствии с современными социально-политическими требованиями. Важно подчеркнуть, что афроатлантический фон воспоминаний, связанных с сиди, не берется здесь напрямую для раскрытия истории вынужденной миграции, поскольку мировоззрение общин африканского происхождения в Индии другое и предлагает новое восприятие мобильности африканцев, исторической дистанции и исторических различий.

Возвращаясь к хорошо изученным историям перемещения товаров между Индией и Африкой, мы также применяем несколько иной подход к (не)материальности и объединяем нечеловеческие существа (джиннов, одушевленные предметы и объекты, обладающие силой) и их влияние, что способствует развитию эмоциональных отношений даже у тех, кто не двигался с места. Кроме того, мы используем понятие «транзит» [6] в качестве основы для объединения товаров, путей сообщения и мест, чтобы понять другие составляющие и сферы, которые обеспечивают афроиндийские обмены. Концепция транзита может рассказать нам не только о «миграции», но и о нелинейных и других формах перемещения – реальных и воспроизводимых – и о других видах движущих сил – не-людях, объектах и воплощенных знаниях. Транзит – это нечто большее, чем просто «обмен», он может помочь нам выйти за рамки перемещений, регулируемых более крупными идеологическими структурами, и коммерческого аспекта торговли на океаническом юге, в сторону мест временной стоянки и межкультурных влияний, которые не ограничены временными и пространственными рамками. Транзит, как нечто большее, чем «диаспора», обеспечивает новую структуру для более глубокого понимания сообществ африканского происхождения в Индийском океане, так как миграция африканцев в Индию продолжалась веками и проходила по разнообразным и разнонаправленным маршрутам.

Подход, основанный на понятии «транзит», также облегчает использование материала, позволяющего проследить, как Африка и Индия представлены и распределены посредством вещей, и в то же время дает возможность провести новые эпистемологические дискуссии в рамках исследований Африки, Азии и Индийского океана. Кроме того, транзит как аналитическая категория открывает возможность изучения потусторонних сфер и духовной географии, где Африка и Индия сходятся в Индийском и Атлантическом океанах, расширяя наше понимание существующих теорий о географии «Черного океана» и истории чернокожих людей. Здесь мы заимствуем термин «чернокожие» у ученых, которые использовали его для обозначения современной, социально организованной группы, включающей африканцев и межрасовые сообщества [7]. Цель также состоит в том, чтобы проследить, как африканцы (обычные люди, мистики и духовные представители) информировали и создавали сообщество в Индийском океане, поскольку их часто не упоминают в истории мобильности и сетей в данном регионе. Как отметил Майкл Раммор, существует не только дисбаланс в представлении движения чернокожих африканцев в Индийском океане, но и проблема в определении того, что является африканским и «неафриканским», поскольку такие классификации основаны на колониальной таксономии расового понимания [8]. Иными словами, общая цель состоит в том, чтобы проиллюстрировать, как современные афроиндийские сходства и образы, связанные материальными, ритуальными и творческими практиками, помогают нам распутать более древнюю генеалогию знаний, однобокую и проблематичную, с тем чтобы восстановить общую историю чернокожих в Атлантическом и Индийском

океанах – фрагментарную, нелинейную, нетекстовую, интимную и чувственную.

Помимо многообразия океанических миров, в настоящей статье также представлена методология, такая как архивные и этнографические исследования, проведенные в западноафриканских странах Гане и Того. Они включают использование источников, выходящих за рамки официальных архивов: спектакли, устные рассказы и ритуалы, – для придания людям самостоятельности, чтобы понять прерывистую историю афроиндийских обменов. В Западной Африке наши беседы с местными художниками, вождями и жителями Эльмины и Кейп-Кост в Гане и Ломе в Того сформировали интеллектуальный подход. Пытаясь осмыслить фрагментарную историю миграции африканцев в Индию, мы обратились к перформативной памяти, в том числе к общинному повествованию с помощью ритуального репертуара сиди. Мы в долгу перед покойной матриархиней сиди Руманабен, *«Устади»* (артист-чтец), которая помогла сохранить жития африканцев, благодаря чтению *зикров* (*zikrs*, декламации) сиди и обучению им. В качестве альтернативных источников представленные историография и материалы не только восполняют пробелы в колониальных и местных архивах, но и доказывают, что в хранилищах можно найти многочисленные истории об афроиндийских обменах.

О других афроиндийских встречах и воображении. Когда мы сосредоточиваем внимание на материальной истории Индийского океана, становится очевидным, что управляли трансконтинентальными связями и формировали их обычные люди, вне зависимости от сил колониализма и неприсоединившихся национальных государств и их представителей. Обычные люди создали афроиндийские представления, которые характеризуются нюансами, спекулятивностью и интимностью, значительно отличаясь от предположений и желаний, высказываемых западноафриканскими лидерами, такими как Леопольд Сенгор и Кваме Нкрума. Хотя об афроиндийских связях сказано много, мы редко задаемся вопросом, как различные средства общения и материальные ценности влияют на воображение обычных современных афроиндийцев и формирование мира, поскольку большинство исследований рассматривают эти отношения через призму национальных государств, неприсоединения, диаспор и «океанического космополитизма» [9]. Современное африканское представление об Индии и индийское представление об Африке необязательно проистекают из более широкой глобализации и инфраструктурных проектов по линии Юг – Юг, а также из афроазиатских постколониальных соглашений, определенных национальными государствами и политическими деятелями; скорее они определяются средствами информации, религиозными практиками, представлениями, орудиями труда и перемещениями людей и других объектов, которые приводят в действие переплетенные истории двух континентов. По мере того как обычные люди развивают афроиндийское сходство и представления, они интерпретируют Африку и Индию с помощью различных материалов (текстиль, бусы, святыни), визуальных средств (спектакли, ритуалы, фильмы, изобразительное

искусство) и медиумов (духовные медиумы, адепты, служители культа). Иначе говоря, в наше время разнообразие экономик, основанных на знаниях, способствует афроиндийскому сближению, поскольку различные люди задействуют различные средства общения, встречаются на промежуточных территориях и разделяют условия жизни и работы мигрантов на глобальном Юге.

Хотя история миграции африканских святых в Индию (обсуждаемая далее в статье) является одним из примеров ранних мелких транснациональных обменов, мы утверждаем, что такие формы афроиндийских обменов помогают нам переосмыслить представления о том, чем является «Афро-Индия» – часто используемый термин, широкий и в такой же степени нечеткий. Таким образом, прежде чем говорить об афроиндийских пересечениях, необходимо разобраться в эвристическом аспекте самого термина «Афро-Индия» и академическом толковании концепции Афро-Индии и афроиндийского. «Афроиндийский» и/или «Афро-Индия» как концепты часто трактуются в качестве универсальных эвристических категорий, подобных «афроатлантическому» [10], без особого понимания того, как этот термин интерпретируется в разных культурных контекстах. В то время как афроиндийские связи во многих научных дискуссиях представляются как особое партнерство или аспекты культурного обмена [11], для африканцев и индийцев «Афро-Индия» по-прежнему остается неопределенным и по большей части неиспользуемым термином, плодом воображения для многих, кто хранит и возрождает истории об афроиндийских отношениях.

Ученые, изучающие афроиндийские образы через литературные репрезентации, например Антуанетта Бертон [12], заметили, что, хотя на Бандунгской конференции отмечалась солидарность «Юг – Юг», такие связи всегда рассматривали сквозь призму расового и колониального мышления, особенно в том, что касается отношения индейцев к африканцам. Как предполагает Бертон, как колониальные, так и даже постколониальные литературные повествования об афроиндийском воображении укоренились в расовом представлении о другом и перекликаются со стереотипами о том, что составляет афроиндийское сознание [13]. В схожем тоне, но в качестве противоположного взгляда на афроиндийские образы, Гаурав Десаи отмечает, что индийцы в основном фигурируют как второстепенные персонажи в колониальной и постколониальной литературе Черной Африки, а отношения между двумя группами характеризуются как эксплуататорские [14]. Как подданные империи, африканцы и индийцы были непростыми партнерами, разделенными по расовому и классовому признакам, что часто создавало видимые и невидимые культурные границы. Тем не менее существуют примеры из других репертуаров и текстов из Африки и Индийского субконтинента, где афроиндийская солидарность строится по-другому и где фрагменты и стилизация истории используются по-новому, чтобы продемонстрировать уникальную афроиндийскую принадлежность в настоящее время [15].

Важно признать, что постколониальные политические альянсы, созданные после Бандунгской конференции [16], проложили

путь разнообразным обменам между африканскими странами и Индией, включая приезд африканских студентов в Индию. В 1950-х и 1960-х гг. африканские студенты, в основном из англоязычных африканских стран, приезжали в индийские университеты для получения ученой степени в области инженерии, естественных наук и других предметов, поскольку индийские университеты предлагали широкий спектр курсов английского языка по доступной цене. С годами их количество росло; в настоящее время африканские студенты обучаются на различных программах бакалавриата и магистратуры, а также на других краткосрочных технических дипломных курсах в Индии [17]. Присутствие африканских студентов в индийских учебных заведениях способствовало созданию афроиндийских товариществ, ограниченных академическими кругами. Они не оказали большого влияния на представление об Африке ни среди индийских рабочих, ни среди общин африканского происхождения. Эти афроиндийские культурные столкновения XX в. происходили в городах, вдали от индийских поселков и деревень, а также от малообеспеченного населения, вышедшего из своих социально-экономических условий. Этому сегменту населения еще только предстояло воспользоваться преимуществами неолиберального движения; более того, у них не было доступа к трансконтинентальным посетителям Индии.

Однако недавняя миграция африканцев в Индию включает самые разные группы – от торговцев до медицинских туристов. Появление новой африканской диаспоры в индийских мегаполисах, таких как Мумбаи и Нью-Дели, представляет собой иной тип афроиндийского мироустройства, в котором панафриканская субъективность переосмысливается и реализуется в соответствии с предрассудками и ожиданиями индийского общества. Как показывает Мира Венкатачалам, это также связано с религиозностью, такой как нигерийские церкви пятидесятников-харизматиков, которые не только служат центрами взаимодействия с сообществом, но и играют жизненно важную роль в демонстрации признаков воображаемой «африканскости» в Индии [18].

В то же время на африканском континенте коммерческое взаимодействие и социальные обмены с южноазиатскими торговцами, исламскими миссиями и другими трансрелигиозными сетями с начала XX в. служат основой для доступа к элементам индийской культуры. В случае Западной Африки взаимодействие за пределами влияния империи – или порой в ее тени – способствовало интересному культурному освоению, которое оказало заметное влияние на духовные и эстетические практики многих сообществ. Такие пространства, как индийские продуктовые магазины или ахмадийские миссии, сыграли определяющую роль в формировании индийских представлений посредством разнообразных визуальных ландшафтов, которые сохранились даже в постколониальную эпоху [19]. Уникальные формы афроиндийских представлений, возникшие в результате переселения людей и предметов, которые они привезли с собой, а также то, как они связывают миры Индийского океана и Атлантики, остаются недостаточно изученными, и лишь в нескольких исследованиях рассматриваются возникающие межкультурные

практики [20]. Подавляющее большинство работ, посвященных афроиндийским отношениям, по-прежнему носят исторический характер и изучают историю империй и «религиозных экономик» [21]; кроме того, есть несколько исследований по экспрессивным культурам [22]. Лишь в малом количестве работах анализируется повседневное восприятие Африки и Индии как близких географических регионов, символически связанных в современности посредством ритуалов, художественных и швейных практик [23].

Для малоподвижного населения странствующие путешественники (торговцы, колдуны, паломники, ремесленники) на протяжении веков создавали представления о связях между Африкой и Индией, рисуя разнообразные образы африканских и азиатских культурных ландшафтов с помощью различных текстов, материалов и устных рассказов. Инструменты и предметы, которые они носили с собой, не только способствовали тактильному сближению и чувствительности к культурным кодам друг друга у людей, далеких от них, но и опровергали этноцентрические представления об Африке в Индии и Индии в Африке. Несмотря на то что это афроиндийское знание было сформировано благодаря подвижному посредническому сенсорному и телесному взаимодействию, при котором индивидуальный опыт мог сформировать видение социально-политических структур и культурных ландшафтов, их глубокое понимание стало основой для непосредственных контактов, которые использовали и, возможно, участвовали в распространении их воображаемых образов из третьих рук. Это означало, что Западная Африка и Индия, хотя и находились далеко друг от друга, всегда были доступны, воображаемы, нанесены на карту и мифологизированы с помощью вещей и людей. Ниже мы расскажем о том, как изученные и малоизвестные афроиндийские связи, простирающиеся до Западной Африки, могут быть сопоставлены, чтобы опровергнуть общепринятые и научные представления о взаимосвязанности и, наоборот, об отделении наземной географии от океанических миров при изучении Африки и Индийского океана.

Святые и формирование мест. В наше время средства массовой информации, такие как кино и телевидение, создают возможности для того, чтобы обычные люди могли осваивать Африку и Индию, но историческое распространение предметов повседневного обихода и роскоши в Восточной Африке и прилегающих к ней районах на протяжении веков связывало Африку и Индию через практику потребления, эстетическую демонстрацию и эффективность предметов [24]. Как предметы роскоши, так и предметы повседневного обихода, которые носят, демонстрируют, используют и хранят представители торговых кругов в странах Индийского океана, позволяют людям (как мобильным, так и немобильным) воспринимать отдаленные культуры и места тактильно [25]. В порты зоны суахили и на Африканском Роге поступал широкий ассортимент товаров, и эти товары перевозились дальше вглубь страны, поскольку многие из этих портов функционировали как транзитные пункты, соединявшие морские пути с сухопутными маршрутами. Например, Прита Мейер отмечает,

что китайский фарфор прибыл в Зимбабве из портов в зоне суахили в XVI в. по внутренним маршрутам [26]. Аналогичным образом текстиль из Гуджарата, доставлявшийся вглубь районов вокруг оз. Танганьика, обменивался на порабощенных африканцев и слоновую кость, что обнажало сложные экономические связи работорговли в Индийском океане с товарообменом. Таким образом, текстиль, бусы и специи из Индии доставлялись вглубь страны на рынки Северной Африки, Судана и Эфиопии из портов на Красном море и перевозились дальше на запад по торговым путям Сахеля. Ценные предметы, такие как сердоликовые и агатовые бусы из Камбея, штат Гуджарат, по указанным маршрутам попадали в Западную Африку [27]; позднее товары из региона Индийского океана, которые уже были в обращении на арабских рынках, потекли вдоль Сахеля в Западную Африку после легендарного путешествия Мансы Мусы в Мекку в 1324 г., что оказало огромное влияние на приход ислама и приток товаров в Мали и соседние регионы [28].

Еще до и после путешествий Мансы Мусы сеть глобальных торговых путей простиралась через Сахель и регионы к югу от пустыни Сахара, соединяя империи Гана (300–1200 гг.), Мали (1230–1600 гг.), Сонгай (1464–1591 гг.) и Сегу (1640–1861 гг.), и способствовала развитию чрезвычайно богатой материальной культуры [29]. Эти доколониальные материальные и эстетические изменения были изучены в рамках монументальных выставок, в том числе «Сахель: искусство и империи на берегах Сахары» [30], которая была организована в музее « Метрополитен», и «Караваны золота, фрагменты во времени» [31] в Музее искусств Блока. Важные транзитные районы Мисра, Нубии и Аль-Хабаша связывали Западную Африку и Индийский океан посредством сложных транссахарских сетей торговцев, паломников и порабощенных людей, а также ризоматических систем товарообмена. Культуры к югу от Сахары были связаны с Нубией и Мисром с очень ранних времен; искусствовед Аннисса Малвуазин [32] утверждает, что ранние культурные связи между цивилизациями долины Нила и западноафриканскими культурами железного века видны по декоративным изображениям на нубийской керамике мероитского периода (200–300 гг. н.э.). Таким образом, мы видим историческую циркуляцию предметов, творческих знаний и дизайнерских конструкций, проходящих через Нубию, Миср и другие транзитные пункты Сахеля.

Торговые объекты, рынки и портовые города, которые были частью транссахарских маршрутов обмена, занимают центральное место в истории и духовных путешествиях в Индию африканских мистиков, святых покровителей общины сиди африканского происхождения. Сиди, считающие себя потомками чернокожих святых из Нубии, Мисра и Аль-Хабаша, нашли свое место в историческом повествовании о миграции африканцев в Индию, представляя себе свою родословную и создавая воспоминания о странах, отдалявшихся друг от друга на протяжении поколений, с помощью предметов и мест, связанных с их святыми. Посредством устных житий и ритуальных представлений в честь Бава Гора [33] сиди рассказывают различные истории о связи их святого

с Нубией, торговыми центрами в транссахарском регионе и передвижениями по Индийскому океану. Согласно устным преданиям сиди, Сиди Мубарак Ноби / Нуби, которого многие называют Бава Гор, был родом из Нубии. Существуют различные, слегка отличающиеся друг от друга рассказы о путешествии Бава Гора в Индию с целью выполнить свою миссию святого. В то время как большинство рассказов изображают Бава Гора как благочестивого человека, который отправился в Камбей, чтобы победить грозную демоницу, в некоторых версиях отмечается, что он был военачальником, командовавшим группой африканских солдат, которые направлялись в Гуджарат. В некоторых случаях утверждается, что Бава Гор и его последователи и/или родственники мигрировали из Кано в Нигерии в Индию, следуя сахельским маршрутом в Абиссинию, а затем направлялись в Мекку [34]. С годами некоторые из этих рассказов были либо забыты, либо переиначены, а порой и перепутаны, поскольку изменился социально-политический контекст. Однако специалисты по ритуалам сиди и смотрители вспомогательных святилищ помнят о связи святого с Западной Африкой и регионами к югу от пустыни Сахара.

Независимо от своей миссии и места происхождения Бава Гор тесно связан с добычей агата и торговлей им. Зикры *(zikrs)* сиди указывают на связь святого с агатовыми камнями *(akik)* высшего качества и ценности. Некоторые из старших отправителей культов сиди носят агатовые бусы с большим почтением, поскольку они воспринимаются как материал, который тактильно связывает их со святым. Бава Гору приписывают модернизацию добычи агата в Ратанпуре (что буквально переводится как «место драгоценных камней») недалеко от Камбея в Гуджарате. Другие источники упоминают о знаниях Баба Гора в области сверления и резьбы по сердолику. Существует множество свидетельств о связях Баба Гора с торговлей агатами. По одной из версий, его вклад в гранильное дело заключался в умении обрабатывать агатовые бусины при высоких температурах, что повышало их блеск и эстетическую ценность [35]. Полосатый агат под названием Бабагория – это синекдохическая отсылка к самому африканскому «святому человеку». Эти четки также известны как «четки святого человека» и ценятся суфиями за привлекательные черно-белые полосы, которые появляются после обжига. Агатовые бусины родом из Африки и Индии сплавили регионы воедино, поскольку знание общих технологий придало форму готовым бусинам, используемым в исламских молитвах.

Согласно некоторым данным, Баба Гор расширил экспорт агатовых бусин в такие порты, как Суакин в Нубии и Джидда на Красном море, сотрудничая с абиссинскими купцами, которые уже обосновались в Камбее. В XV в. Камбей стал главным портом для путешествий в Мекку [36]. Паломники, путешественники и торговцы из Камбея, направлявшиеся в Мекку и другие города на Красном море, везли с собой родственные агату минералы, например сердолик (сердолик и агат являются разновидностями халцедона. — *Прим. пер.*). Связь Баба Гора с Меккой также упоминается в зикрах *(zikrs)* сиди, в которых говорится, что «мой святой пришел из Мекки» *(mera pir aya Mecca se)*. Это

изложение зикры *(zikr)* сиди служит фрагментарным историческим описанием сложной торговой сети, которая связывала Африку, Аравию и Индию при помощи потоков товаров и людей, где африканцы принимали активное или принудительное участие. Зикры *(zikrs)* сиди также связали братьев-суфиев Баба Гора с производством и распространением особых украшений, таких как бусы, и с переплетающимися историями миграции африканцев из Аль-Хабаша и Нубии, неся в себе, таким образом, ссылки на рынки, на которых торговали порабощенными африканцами и товарами. В этот исторический период развивались афроарабские государства эпохи до Нового времени и росла их коммерческая зависимость от исламского Индийского океана, что позволило небольшой группе африканских «мистиков», добытчиков и торговцев агатом, таких как Баба Гор и его родственники, прочно связать Ратанпур и Камбей в Гуджарате с прибрежными и внутренними рынками в Африке. Например, брату Баба Гора, Баба Сабану, приписывают открытие рынков агатовых бусин в арабском мире [37]. Учитывая, что мусульманские и африканские торговцы были весьма активны в торговле через Индийский океан, Баба Гор, вероятно, расширил экспорт индийского агата как посредством морской, так и посредством внутренней торговли в исламском мире, тем более что сердолик пользовался большим спросом в Аравии и Африке из-за своей блестящей красной окраски и свойств талисмана [38].

Как только агатовые бусы попадали в порты Красного моря, их перевозили дальше по торговым путям Сахеля и даже доставляли в регионы Западной Африки. В качестве примера можно привести обнаружение сердоликовых бус из Камбея на недавно раскопанных стоянках Гао и Тимбукту в Мали, которое дает более полное представление об экспорте сердолика из Гуджарата в Западную Африку. Гао, бывшая столица империи Сонгай, в XV и XVI вв. был важным центром транссахарской торговли, что связывало его с торговыми системами Индийского океана. Торговля сердоликом между Камбеем, Гуджаратом и регионами к югу от Сахары и в Западной Африке в период до Нового времени была изучена историками и подтверждена археологами с помощью визуального анализа агатовых бусин, найденных в Судане и Нигерии [39]. А.Дж. Аркелл в своей статье [40] убедительно доказывал, что некоторые из старинных сердоликовых бус, которые он собрал в Дарфуре (Судан) и Кано (Нигерия), были привезены из Камбея и попали в порты Красного моря через паломников и торговцев. Эта гипотеза теперь может быть подтверждена сравнительным химическим анализом сердоликовых бусин, собранных в крупных центрах обработки в Гуджарате, включая Ратанпур, а также различными образцами сердолика, собранными на археологических раскопках в Гадее, Гаосане, Гаосани и Тимбукту [41]. Данные населенные пункты в Западной и Западно-Центральной Африке являлись торговыми городами и транзитными пунктами, которые были включены в сухопутные торговые пути и демонстрируют масштабы средневековых торговых связей между странами к югу от Сахары. Как отметил Аркелл, карнелийцы прибыли в Нигерию и другие западноафриканские города с караванами,

и он считает, что в Новое время они доставлялись из городов вдоль Голубого и Белого Нилов торговцами бусами, известными как феллаты *(fellata)*, которые являются уроженцами Северной Нигерии, а иногда и Сенегала [42].

Поскольку Баба Гор считался «катализатором» расширения торговли агатами, мы можем найти названия мест, которые способствовали тесной торговле региона Сахеля со странами Индийского океана, появляющиеся в устных рассказах, прославляющих духовную харизму Баба Гора. Благодаря его вкладу в торговлю агатом и его производство, после смерти он пользовался большим уважением и почитанием среди исламских мастеров бусоплетения из Гуджарата. Его могила, расположенная недалеко от агатовых копей, стала священным местом, служа местом упокоения святого, а агатовые копи рассматриваются сиди как «священная география» [43]. В XIV в. усыпальница *(dargah)* святого служила местом паломничества, которое посетил правитель султаната Гуджарат Мухаммад Шах после своего восшествия на престол [44]. О существовании культа Баба Гора упоминал марокканский путешественник XIV в. Ибн Баттута [45]; в других источниках, посвященных Индийскому океану, признается, что информация Баттуты дает представление о формировании культуры поклонения, связанной со святилищем Баба Гора в Ратанпуре, которая, вероятно, развилась гораздо позже.

Как и Баба Гор, его сестра Май Мисра, которую также иногда называют Май Мариям, является святой покровительницей общины выходцев из Африки и ассоциируется с каллиграфической агатовой бусиной [46]. Считается, что Май Мисра родом из Мисра (Египет), и, согласно устным житиям сиди, она использовала свою шаль в качестве паруса дау, чтобы пересечь Индийский океан и добраться до Гуджарата. Истинное имя святой остается загадкой, к ней с уважением обращаются «Май» *(Mai)*, или «Мать». «Май» также может быть именем с арабским влиянием, и во многих случаях ее также называют Майша / Майса, популярным арабским именем, которое означает «жизнь». Хотя о ней известно не так много, в рассказах сиди ее описывают как женщину с вьющимися волосами, в красной дупатте *(tie-dye dupatta* или *shawl,* разновидность платка или палантина. — *Прим. пер.*). Сиди часто символически изображают ее в тканях тай-дай *(tie-dye)*. Гробница Май Мисры и вспомогательные святыни, посвященные ей, покрыты разнообразными тканями *(tie-dye)*, свидетельствующими о ее глубокой связи с ними. Несмотря на то что божества в святилищах по всему Гуджарату украшены тканями, окрашенными в яркие цвета *(tie-dye)*, особенно интересным в скромных святилищах Май Мисры является то, что текстиль становится маркером ее символического воплощения: материальный носитель текстиля служит символом присутствия божества, историческая личность которого неизвестна.

Гуджарат уже свыше тысячелетия является центром текстильного производства, где ремесленники осваивали особые методы стойкого окрашивания. Специалист по текстилю Рут Барнс отмечает, что фрагменты хлопчатобумажной ткани, изготовленной в Гуджарате, были обнаружены на археологических

раскопках в Египте в периоды Фатимидов, Айюбидов и Мамлюков (то есть с X до начала XVI в.), в том числе текстильные изделия с резист-печатью или протравой, которые свидетельствуют о тесном переплетении средневековых ремесел между Египтом, Индией и бассейном Индийского океана [47]. Другим особенно ярким примером, демонстрирующим распространение индийского текстиля до эпохи Нового времени, являются фрагменты хлопчатобумажных тканей из Гуджарата в коллекции музея «Метрополитен», найденные при раскопках в Фустате (Египет) в 1920-х и 1930-х гг.. Как отмечает Айша Шейх, некоторые образцы, такие как шеврон, были созданы специально для египетского рынка из-за высокого спроса [48]. Эти примеры иллюстрируют расширение сетей торговли текстилем, соединяющих Индию с Египтом, и понимание потребностей африканского потребителя в производстве.

Можно утверждать, что ассоциация Май Мисры с текстилем и вышитыми бусами платками *(tie-dye)* представляет собой процесс создания воспоминаний, в ходе которого устные истории сиди, связанные с миграцией, религиозными практиками, ремеслами, торговлей и трудом, в совокупности иллюстрируют гендерную историю африканцев, прибывших в Индию, и их вклад в область творчества. Старейшины сиди рассказывают, что женщины работали в ремесленном производстве, горнодобывающей промышленности, текстильной и красильной промышленности. Даже сегодня женщины-сиди в Джамнагаре и Сурате, двух крупнейших текстильных центрах Индии, продолжают работать в неформальном текстильном секторе в качестве красильщиц тай-дай *(tie-dye)* или бандан *(bandhani)*, что требует отточенного мастерства завязывать крошечные узелки на ткани для создания замысловатых узоров. Техника *tie-dye* и резистивного окрашивания являлись формами знаний, которые распространялись вдоль побережья Индийского океана и Сахеля, причем каждая культура, расположенная вдоль торгового пути, адаптировала и изобретала новые стили окрашивания, методы завязывания узлов и сложные узоры и делилась этим навыком друг с другом. Вполне возможно, что африканские женщины, прибывшие в Индию, либо уже обладали этими навыками, либо быстро овладели техникой завязывания узлов на тканях в Гуджарате, таким образом, став неразрывно связанными с изделиями бандхани *(bandhani)*. Могила Май Мисры украшена разнообразными тканями, сделанными в технике *tie-dye*, принесенными паломниками, а домашние алтари святой украшены ширмами из текстиля в технике *tie-dye*, чтобы подчеркнуть ее святость и ее личность как мистика, задрапированного в вуаль *tie-dye* или пурду *(purdah)*.

Связь святой Май Мисры с агатовыми бусами и текстилем символически сохраняется благодаря музыкальному инструменту сиди под аналогичным названием «май мисра», который представляет собой кокосовую погремушку, похожую на африканские шейкеры, встречающиеся в регионах к югу от Сахары и вокруг Индийского океана. Музыкальный инструмент «май мисра» изготовлен из высушенной скорлупы кокосового ореха,

наполненной мелкими агатовыми бусинками, а для держания инструмента и создания звука при ритмичном встряхивании в него вставлена деревянная палочка. Кокосовые погремушки обернуты в красную ткань *tie-dye*, что указывает на личность святой и играет важную роль в репертуаре выступлений сиди, включая церемонии передачи музыки. Их часто помещают поверх или рядом со святилищами-спутниками *(chilla)* святой Май Мисры. В ритуальных представлениях музыканты сиди используют погремушки наряду с другими традиционными инструментами сиди, такими как стоящий на земле барабан *(mugarman)* и маленький цилиндрический барабан *(damama)* [49].

Брат Бавы Гора и Май Мисры, Бава Хабаш, также известный как Хабаш Хан или Баба Аббас, связан с регионом Аль-Хабаш и военным рабством в Индийском океане. Если некоторые источники описывают его как абиссинского военачальника, который пересек Индийский океан, то другие идентифицируют его как брата Бава Гора, который управлял своим агатовым бизнесом в Камбее [50]. Бава Хабаша также называют Дарья Дулха (жених океана / моря) из-за его обширных знаний об океанских водах и навыков навигации, что, возможно, указывает на океанскую сеть, которую он использовал. Такие исторические ссылки демонстрируют взаимосвязь африканских торговцев бусами с арабо-африканской работорговлей в Западной Индии в XIII–XV вв., в период, когда африканские солдаты играли решающую роль в исламских султанатах на индостанском субконтиненте, защищая их власть в условиях политических потрясений и конфликтов [51]. Согласно легенде о сиди, трое святых отправились в путешествие из разных регионов Африки, что позволяет предположить, что они, возможно, не являлись родственниками, а были объединены духовными и творческими узами.

Сложная история индийских торговых предметов, предназначенных для рынков к югу от пустыни Сахара, и известное происхождение африканских святых и их жизненный путь наводят на мысль о ризоматических связях, показывая, как эти предметы формировали афроиндийские обмены. Путешествие этих товаров одновременно иллюстрирует обширные связи, посредством которых Западная Африка была объединена с Индией, – в значительной степени забытое повествование о трансконтинентальных связях в эпоху до Нового времени, которое продолжает звучать и сегодня, когда сиди поют и танцуют под жизнеописания этих святых. Позднее, во время трансатлантической торговли, некоторые камбейские сердолики попали в Карибский бассейн [52].

Эти ранние связи с Африкой по-разному проявляются в Индии и Западной Африке. Например, верховный комиссар Индии в Нигерии в 2012 г. во время мероприятия, организованного правительством штата Кано, сослался на миграцию Баба Гора из Кано, чтобы продемонстрировать многовековые культурные связи Нигерии с Индией и союз между двумя странами – союз, который был создан еще до создания каких–либо партнерских форматов Движения неприсоединения [53]. Для сиди упоминание таких мест, как Кано и Нубия, при чтении зикров *(zikrs)* дополняет историографию миграции. Несмотря на то что мы можем

наблюдать процесс «выдумывания» локальных исторических воспоминаний, связь африканских святых с маршрутами через Сахару и Индийский океан через перемещение парусов, текстиля и бус – это исторический факт, который нельзя не учитывать.

Предметы и истории переселений. С приходом португальцев и голландцев в регионы Атлантического и Индийского океанов доколониальные маршруты трансконтинентальной торговли были перестроены, поскольку европейские суда начали перевозить текстиль и бусы из Гуджарата и специи с Малабарского побережья на Гвинейское. Европейские суда, заходившие в порты Гвинейского залива и Золотого Берега, воспользовались спросом Западной Африки на международные товары и перевозили тонны бус и текстиля, которые обменивались на золото, а затем на пленных африканцев [54]. Разнообразные агатовые бусы, в том числе из яшмы, агатовые кубки и вазы из Камбея, а также текстиль оттуда же и с Коромандельского берега поступали на рынки Западной Африки по морским путям [55]. Некоторые из этих предметов также перевозились через Атлантический океан на Карибские острова. Джером Хэндлер, который исследовал предметы из мест захоронения рабов 1660–1820 гг. на Карибских островах, отмечает, что ожерелья с сердоликовыми бусами были найдены захороненными вместе с людьми в их могилах. Хотя о том, как бусы попали на Барбадос, можно только догадываться, сердолик из Камбея, должно быть, считался ценным изделием и, возможно, перевозился с разрешения либо контрабандой через Атлантику [56].

По мере того как трансатлантическая работорговля набирала обороты, европейские торговые компании использовали индийский хлопок и шелк как товары для покупки рабов на западноафриканском побережье. Спрос в Западной Африке на индийский текстиль вырос [57]; это видно из отчетов голландского судна The Unity о трансатлантическом путешествии в 1761–1763 гг. Около 47 % его груза составляли текстильные изделия (то есть 18 т 35 видов текстильных изделий) [58]. Большинство из них было произведено в Индии, а некоторые вещи в индийском стиле были изготовлены в Европе. Записи The Unity показывают, что в различных портах захода в Либерии, Береге Слоновой Кости (совр. Кот-д'Ивуар. — *Прим. пер.*) и Золотом Береге (совр. Гана. — *Прим. пер.*) различные текстильные изделия, включая красные и синие платки *(rumals)*, известные как «гвинейская ткань», продавались в основном для покупки рабов. Например, во время пребывания судна The Unity с 23 февраля по 8 мая 1762 г. около 20 различных видов текстиля были проданы в обмен на рабов [59]. Индийские ткани *tie-dye* или *bandhani*, как и ткани, ассоциирующиеся с Май Мисра, являлись предметами роскоши, которые позднее были вытеснены в Западной Африке изготовленными в Англии банданами *(bandanas)* в стиле *tie-dye*. Начиная с XVII в. мы встречаем на Золотом Береге ситец и шелковые *tie-dye* – ткани, символизирующие социальный статус элиты племен фанте и акан, и эти материалы стали частью демонстрации власти, богатства и целеустремленности.

Помимо тканей, другие предметы, изготовленные из текстиля, такие как зонтики индийского производства, дарились вождям и королям Ганы в качестве дипломатических подарков португальцами, голландцами и англичанами, которые часто конкурировали за выгодные торговые условия на Золотом Береге. Шарон Паттон отмечает, что европейцы были хорошо осведомлены о популярности индийских зонтиков в королевстве Ашанти, и начиная с XVII в. англичане и голландцы дарили двору Ашанти шелковые и бархатные зонты с богатой вышивкой и бахромой и декоративными металлическими ручками [60]. В ритуалах Ашанти дурбар *(durbar)* и других королевских церемониях зонт стал символом политического ранга и статуса. Хотя местные мастера изготавливали зонты еще до появления индийских куполообразных зонтов, формы и стили зонтов акан были другими и менее сложными. По мере того как королевство Ашанти укреплялось, богато украшенный зонт стал повсеместной политической эмблемой, и мы видим, что короли и вожди использовали зонты разных стилей и размеров для обозначения своего политического статуса. Местные мастера удовлетворяли этот растущий спрос, часто подражали индийским образцам и мастерски смешивали различные импортные ткани, такие как ситец и дамаск, создавая пестрые, многоцветные узоры [61]. Распространение индийских торговых товаров в Западной Африке не только свидетельствует об интеграции атлантической работорговли с торговлей изделиями из региона Индийского океана, но и показывает, как товары были включены в культурные и политические церемонии.

Как и зонтики, некоторые из индийских тканей, которые поступали в Западную Африку, стали предметом вожделения городской элиты. Это было особенно актуально для евроафриканских женщин-торговок, живших в прибрежных торговых городах – от Сен-Луи в Сенегале до Фритауна в Сьерра-Леоне. Они использовали в своих нарядах импортные хлопчатобумажные и шелковые платки и ленты, а также индийский, европейский, китайский и африканский текстиль, чтобы продемонстрировать свое богатство [62]. Другие текстильные изделия приобрели культурное значение в качестве ритуальных предметов и являются неотъемлемой частью соответствующих церемоний даже в наше время. Например, индийский мадрас, инджири *(injiri)*, ткань, производимая на Коромандельском берегу на юго-востоке Индии, имеет материальное значение для калабари в дельте Нигера, поскольку ее дарят, обменивают и носят во время ритуальных мероприятий и на всевозможных общественных собраниях [63]. Инджири, что в переводе с языка калабари означает «ткань из Индии», представляет собой яркую клетчатую ткань, используемую мужчинами и женщинами в качестве одежды для обертывания. Торговцы в Калабаре также называли эту ткань «настоящей Индией», чтобы отличать индийский текстиль ручной работы из 100%-го хлопка от подделок фабричного производства, которые поступали в порты Западной Африки в XIX в.

Т.В. Эрекосима и Дж.Б. Эйчер [64], которые тщательно изучали индийский мадрас, отмечают, что калабари, жившие и торговавшие в дельте Нигера, имели доступ к импортному текстилю еще

до прибытия европейцев. Компания Eicher называет этот текстиль Intorica, или «Из Индии в Африку»; это относится к тканям, которые производятся в Индии специально для африканских рынков [65]. Калабари превратили индийский мадрас в свой собственный артефакт, вытягивая нити из ткани и создавая таким образом новые узоры; они назвали это «укус пелетэ» *(pelete bite)*. Как индийский мадрас, так и «укус пелетэ» *(pelete bite)* являются важными культурными объектами и фигурируют в церемониях рождения и смерти, демонстрируя международную ценность и домашнее мастерство [66]. Эти ткани также используются для сокрытия лиц на маскарадах, особенно на празднике водных духов, вероятно, чтобы подчеркнуть их океанические связи и могущество [67]. Мы видим аналогичное использование импортных предметов в ритуалах, связанных с пантеоном водных духов Мами Вата, в котором импортные товары используются в ритуалах и на алтарях духов для подчеркивания богатства и экономической мощи, которые приходят издалека [68].

Передача силы из Индии через воду – это известная тема в мистических искусствах и представлениях в разных частях Западной Африки. Например, в исламских мистических практиках Сьерра-Леоне джинны, которые приходят к людям, чтобы принести им целительную силу и энергию покровительства, происходят из Индии. Сэмюэль Андерсон, который подробно изучал исламских мистиков в Сьерра-Леоне, отмечает, что соискатели, с которыми он встречался, рассказывали, что они обретали мистические способности после того, как погружались под воду и вступали в контакт с джиннами из Индии или откуда-то издалека [69]. Во многих мистических обрядах и маскарадах океанические связи с Индией посредством целого ряда вещей несут целительную силу и другие мистические способности, которые используют специалисты по ритуалам и молящиеся. С одной стороны, в то время как эти практики демонстрируют трансокеанские связи и родство, активированные духовными медиумами, нечеловеческими существами, такими как джинны, и предметами, обладающими силой в Западной Африке, эти материальные ценности также подчеркивают различные сочетания и сопутствующие значения предметов индийской торговли в социальной и культурной среде Африки в разные периоды.

Особые ритуальные практики в Западной Африке являются яркими примерами слияния, которые демонстрируют, как Африка и Индия визуально перенимают друг у друга. Возьмем, к примеру, индуистский храм в Осу (Аккра, Гана), где на алтаре храма отведено место представителям различных религий индостанского субконтинента. Мы видим индуистских богов и богинь, сикхский религиозный текст «Гуру Грант Сахиб», изображения сикхских гуру, большую фотографию Сатьи Саи Бабы, мраморный идол *(murti)* Ширди Саи Бабы и бюсты Иисуса и Марии – все это занимает место на центральном алтаре храма [70]. Поразительное переплетение ганской и индийской культовых культур можно увидеть во время вечернего ритуала пуджа *(puja)* по четвергам в честь индийских святых Ширди Саи Бабы и его воплощения Сатьи Саи Бабы. Африка и Индия объединяются каждый

четверг с помощью визуальных символов, предметов и религиозного пения выходцев из индийской диаспоры и ганцев под музыкальное сопровождение африканских барабанов. Во время пуджи *(puja)* в четверг перед алтарем ставится стул, обернутый тканью кенте, что символизирует присутствие Сатьи Саи Бабы. Кенте – это ткань акан, которая первоначально предназначалась для членов королевской семьи и для обертывания святынь *(obosom)* [71]; она используется для обивки кресла Саи Бабы, которое, вероятно, представляет собой место, занимаемое индийским святым во время его аудиенций с верующими. Таким образом, сиденье подчеркивает его божественное присутствие в храме в Осу. Для приверженцев Саи Бабы это традиционный в Гане способ продемонстрировать свою преданность святому, поскольку одежда кенте является признаком престижа среди акан и предназначается для высших чинов. Такие афроиндийские сближения вызывают воспоминания и эмоции и позволяют по-другому взглянуть на историю контактов – людей, культур – и те взаимные, впечатляющие образы и гибриды, которые они порождают.

Заключение. Идея объединения в одной статье различных тем, таких как связь африканских мистиков с предметами торговли в Индийском океане, появление индийских товаров в Западной Африке в XVI в. и современное использование этих предметов, имеет целью продемонстрировать, как регионы к югу от пустыни Сахара были связаны с миром западной части Индийского океана. С самых давних времен знания об Африке в Индии и Индии в Африке во многом ощущались, слышались, понимались и видоизменялись, по мере того как путешественники и торговцы приносили с собой рассказы о других местах и товарах, которые, как тактильные средства, вызывали в мыслях образы далеких краев. Мы видим, как эти тактильные связи пересматривают географическую дистанцию в святилищах африканских святых благодаря чтению зикров *(zikrs)*, когда можно получить доступ к отдаленным местам, таким как Нубия, Миср и Аль-Хабаш, и осмыслить их с помощью ритуальных действий. Эмоциональное знание, получаемое в святилищах чернокожих святых, не только сокращает дистанцию между Африкой и Индией, но и продолжает поддерживать афроиндийскую солидарность в настоящем даже для тех, кто лишен возможности перемещаться. Многие элементы совпадают, например, в воспоминаниях о происхождении Баба Гора в Африке, а некоторые версии отождествляют его с Кано в Нигерии; однако его чтят за его мистическую харизму и вклад в добычу и обработку агата. Таким образом, указанные истории рассказывают нам о том, как средства информации, материалы, искусство и священная география связывают Африку и Индию.

Итак, пространственные представления афроиндийцев изменчивы и остаются подвижной концепцией даже для лишенных возможности перемещаться людей, поскольку переплетения прошлого влияют на местные представления об афроиндийских отношениях. Другими словами, мы наблюдаем разрыв между историей, памятью и представлениями, поскольку истории океанских и сухопутных переходов между Африкой и Индией

видоизменяются и проявляются в материальной, ритуальной и воображаемой сферах. Действительно, эти недискурсивные интерпретации контактов между Африкой и Индией, между африканским и индийским предполагают избирательное осмысление трансконтинентальных перемещений, поскольку сообщества переосмысливают свое прошлое, включая или исключая истории рабства и предприятия, основанные на «расистском» капитале. Подобно устным жизнеописаниям, сообщающим о происхождении племени Бава Хабаш в регионе Аль-Хабаш, центре работорговли между Африкой и Индийским океаном, или историям о джиннах, обладающих великой силой и предлагающих мистическую опеку в Сьерра-Леоне, эти повествования предполагают сложное прошлое и социальную значимость того, что путешествует по воде. Подводя итоги, можно сказать, что, хотя миры Африки и Индии воображаются, искажаются и обобщаются обычными людьми, многие афроиндийские связи становятся актуальными благодаря материалам, исполненным житиями, предметами силы и нечеловеческими существами.

Благодарность. Финансирование для публикации этой статьи в открытом доступе предоставлено Национальной библиотекой Катара.

Пер. с англ. П.А. Искендеров

Примечания

1. AUSTEN R. Trans-Saharan Africa in World History. Oxford. 2010.
2. LYDON G. On Trans-Saharan Trails: Islamic Law, Trade Networks, and Cross-Cultural Exchange in Nineteenth-Century Western Africa. Cambridge. 2009.
3. LIONNET F., SHIH S. Minor Transnationalism. Durham, NC. 2005.
4. Sacred Waters: Arts for Mami Wata and Other Divinities in Africa and the Diaspora / Ed. H.J. Drewal. Bloomington, IN. 2008; LARKIN B. Indian Films and Nigerian Lovers: Media and the Creation of Parallel Modernities. — Africa. 1997. Vol. 67. No. 3, p. 406–440; RUSH D. The Idea of India, the Sea, and Shiva in West African Vodun. — Transcultural Dialogues. 2019. No. 1, p. 11–23; IBID. The Idea of “India” in West African Vodun Art and Thought. In: India in Africa, Africa in India: Indian Ocean Cosmopolitanisms / Ed. J. Hawley. Bloomington, IN. 2008; YOUNG K. Hearing Sacred Sounds in Hindi Film Songs: Thoughts on the Mawlid in Tamale, Northern Ghana. — Journal of Africana Religions. 2017. Vol. 5. No. 2, p. 299–308.
5. См.: JEAN-FRANÇOIS E.B., JEYCHANDRAN N. African-Asian Affinities: Indian Oceanic Expressions and Aesthetics. — Verge: Studies in Global Asia. 2022. Vol. 8. No. 1.
6. BYRD J.A. The Transit of Empire: Indigenous Critiques of Colonialism. Minneapolis, MN. 2011.
7. DERBEW S. Untangling Blackness in Greek Antiquity. Cambridge. 2022.
8. RUMMORE M.A. Crossing Black Waters: Indian Ocean Studies, Third Worldism, and the Ontological Turn. — History of the Present: A Journal of Critical History. 2022. Vol. 12. No. 2, p. 284.
9. AIYAR S. Indians in Kenya: The Politics of Diaspora. Cambridge, MA. 2015; Afrasian Transformations: Transregional Perspectives on Development Cooperation, Social Mobility and Cultural Change / Eds.: R. Achenbach, J. Beek, J.N. Karugia, R. Mageza-Barthel, F. Schulze-Engler. Leiden. 2020; HARRIS J.E. The African Presence in Asia: Consequences of the East African Slave Trade. Evanston, IL. 1971; The African Diaspora in the Indian Ocean / Eds.: S. de S. Jayasuriya, R. Pankhurst. Trenton, NJ. 2003; HOFMEYR I. The Black Atlantic Meets the Indian Ocean: Forging New Paradigms of Transnationalism

for the Global South: Literary and Cultural Perspectives. — Social Dynamics. 2007. Vol. 33. No. 2, p. 3–32; IBID. The Complicating Sea: The Ocean as Method. — Comparative Studies of South Asia, Africa and the Middle East. 2012. Vol. 32. No. 3, p. 584–590.
10. TROUILLOT M.-R. North Atlantic Universals: Atlantic Fictions, 1492–1945. — South Atlantic Quarterly. 2002. Vol. 100. No. 2, p. 839–850.
11. TAN S.S., ACHARYA A. Bandung Revisited: The Legacy of the 1955 Asian-African Conference for International Order. Singapore. 2008; India in Africa, Africa in India: Indian Ocean Cosmopolitanisms / Ed. J. Hawley. Bloomington, IN. 2008; India in Africa: Changing Geographies of Power / Eds.: E. Mawdsley, G. McCann. Cape Town. 2011; Afrasian Transformations: Transregional Perspectives on Development Cooperation, Social Mobility and Cultural Change / Eds.: R. Achenbach, J. Beek, J.N. Karugia, etc. Leiden. 2020; KING K., VENKATACHALAM M. India's Development Diplomacy and Soft Power in Africa. Oxford. 2021.
12. BURTON A. Africa in the Indian Imagination: Race and the Politics of Postcolonial Citation. Durham, NC. 2016.
13. Ibidem.
14. DESAI G. Commerce with the Universe: Africa, India, and the Afrasian Imagination. NY. 2013.
15. См.: SHANKAR S. An Uneasy Embrace: Africa, India, and the Specter of Race. London. 2021.
16. Бандунгская конференция, проходившая с 18 по 24 апреля 1955 г. в Бандунге (Индонезия), стала важным политическим событием для азиатских и африканских государств. Это была первая крупномасштабная встреча стран, которые недавно обрели независимость или все еще находились под колониальным господством, направленная на развитие стратегического социально-экономического и культурного сотрудничества и противодействие колониализму и неоколониализму.
17. См.: VERMA K. African Clusters in India. London. 2023.
18. VENKATACHALAM M. African Pentecostalism in India: Being Born Again in the Diaspora. — Journal of Indian Ocean World Studies. 2022. Vol. 6. No. 1, p. 90–112.
19. SHANKAR S. Op. cit.
20. См.: RUSH D. The Idea of India, the Sea, and Shiva in West African Vodun…; IBID. The Idea of "India" in West African Vodun Art and Thought…; SHANKAR S. Op. cit.
21. См., например: Embodying Charisma: Modernity, Locality, and Performance of Emotion in Sufi Cults / Eds.: H. Basu, P. Werbner. NY. 1998; ALPERS E. The African Diaspora in the Indian Ocean: A Comparative Perspective. In: The African Diaspora in the Indian Ocean…; Sidis and Scholars: Essays on African Indians / Eds.: A. Catlin-Jairazbhoy, E. Alpers. Noida. 2004; EATON R. The Rise and Fall of Military Slavery in Deccan, 1450–1650. Bloomington, IN. 2006; OBENG P. Shaping Membership, Defining Nation: The Cultural Politics of African Indians in South Asia. Lanham, MD. 2007; SHROFF B.F. Sidis in Mumbai: Negotiating Identities between Mumbai and Gujarat. — African and Asian Studies. 2007. Vol. 6, p. 305–319; IBID. "Goma is going on": Sidis of Gujarat. — African Arts. 2013. Vol. 46. No. 1, p. 18–25.
22. LARKIN B. Op. cit.; RUSH D. Vodun in Coastal Benin: Unfinished, Open-Ended, Global. Nashville, TN. 2013; JEYCHANDRAN N. Marginalized Narratives and the Production of Memory: Shrines for African Spirits at Kochi in India. In: Excavating Memory: Sites of Remembering and Forgetting / Eds.: M.T. Starzmann, J. Roby. Gainesville, FL. 2016; PURDY J.M. Carved Swahili Doors: Gateways of Status, Trade, and Transaction in East Africa: PhD Thesis. Pennsylvania State University. 2020.
23. См., например: GRAVES EYSSALLENNE J. Voices from the African Diaspora in India: Lyric Poetry in the Sidi Sufi Devotional Tradition. — Comparative Studies of South Asia, Africa and the Middle East. 2024. Vol. 44. No. 3, p. 508–520; HILL E.J. Dancing Altars: Carnivalesque Performance in a Festival in Togo. — African Arts. 2022. Vol. 55. No. 4, p. 54–67; RUSH D. The Idea of India, the Sea, and Shiva in West African Vodun…; SHANKAR S. Op. cit.; SRINIVAS S. Beyond the Rim: Centering Cities in Indian Ocean Worlds. — Verge: Studies in Global Asias. 2022. Vol. 8. No. 1, p. 3–11.
24. PRESTHOLDT J. Domesticating the World: African Consumerism and the Genealogies of Globalization. Berkeley, CA. 2008; MACHADO P. Ocean of Trade: South Asian Merchants, Africa and the Indian Ocean, c. 1750–1850. Cambridge, 2014; MEIER P. Chinese Porcelain and Muslim Port Cities: Mercantile Materiality in Coastal East Africa. — Art History. 2015. Vol. 38. No. 4, p. 718–731; IBID. Swahili Port Cities: The Architecture of Elsewhere. Bloomington—Indianapolis, IN. 2016.

25. MEIER P. Chinese Porcelain and Muslim Port Cities…; IBID. Swahili Port Cities…
26. IBID. Chinese Porcelain and Muslim Port Cities…
27. FRANCIS P. Beadmaking in Islam: The African Trade and the Rise of Hebron. — Beads: Journal of the Society of Bead Researchers. 1990. No. 2, p. 15–28.
28. OLIVER P.J. Mansa Musa and the Empire of Mali. — CreateSpace Publishing Platform. 2013. URL: https://scholar.google.com/scholar_lookup?title=Mansa+Musa+and+the+Empire+of+Mali&author=Oliver+P.+J.&publication+year=2013
29. См.: Caravans of Gold, Fragments in Time: Art, Culture, and Exchange across Medieval Saharan Africa / Ed. K.B. Berzock. Evanston, IL. 2019; LAGAMMA A. Sahel: Art and Empires on the Shores of the Sahara. New Haven, CT—London. 2020.
30. LAGAMMA A. Op. cit.
31. Caravans of Gold, Fragments in Time: Art, Culture, and Exchange across Medieval Saharan Africa…
32. MALVOISIN A. Through the Sahara, Across the Red Sea: Trade Networks of Meroitic Finewares and Their Impact on Modern Museum Collections: PhD Thesis. University of Toronto. 2024.
33. Имя этого святого пишут в самых различных вариантах. В частности, мы находим записи в публикациях журналистов официальной прессы Гуджарата, а также в других источниках, где его имя фиксируется как Баба Гор или Бава Гор.
34. PATEL J.K. African settlements in Gujarat. — India Quarterly: A Journal of International Affairs. 1986. Vol. 42. No. 3, p. 238–246.
35. AKHTAR J. The Agate and Cornelian Industry of Southern Gujarat. — Proceedings of the Indian History Congress. 2008. Vol. 69, p. 282–286; FRANCIS P. Baba Ghor and the Ratanpur Rakshisha. — Journal of the Economic and Social History of the Orient. 1986. Vol. 29. No. 2, p. 198–205; IBID. Asia's Maritime Bead Trade: 300 BC to the Present. Honolulu, HI. 2002; TRIVEDI R.K. Selected Crafts of Gujarat: Agate Industry of Cambay. In: Census of India 1961. Vol. V. Pt. VII-A (1). Delhi. 1964.
36. TRIVEDI R.K. Op. cit.
37. Ibidem.
38. KENOYER J.M., VIDALE M., BHAN K.K. Contemporary Stone Beadmaking in Khambhat, India: Patterns of Craft Specialization and Organization of Production as Reflected in the Archaeological Record. — World Archaeology. 1991. Vol. 23. No. 1, p. 44–63.
39. INSOLL T., POLYA D.A., BHAN K., IRVING D., JARVIS K. Towards an Understanding of the Carnelian Bead Trade from Western India to Sub-Saharan Africa: The Application of UV-LA-ICP-MS to Carnelian from Gujarat, India, and West Africa. — Journal of Archaeological Science. 2004. Vol. 31, p. 1161–1173.
40. ARKELL A.J. Cambay and the Bead Trade. — Antiquity. 1936. No. 10 (39), p. 292–305.
41. INSOLL T., POLYA D.A., BHAN K., IRVING D., JARVIS K. Op. cit.
42. ARKELL A.J. Op. cit.
43. FRANCIS P. Indian Agate Beads. Lake Placid, NY. 1982, p. 22–23.
44. An Arabic History of Gujarat. Zafar ul walih bi muzaffar wa alihi: By Abdullah Muḥammad al-Makki al-Aṣafi al-Ulughkhani Ḥajji al-Dabir / Transl. M.F. Lokhandwala. Baroda. 1970; Текст "Zafar ul walih bi muzaffar wa alihi", автор Abdullah Muḥammad al-Ulughkhani Ḥajji al-Dabir, содержит упоминание об усыпальнице (dargah) святого.
45. SHEIKH S. Forging a Region: Sultans, Traders and Pilgrims in Gujarat, 1200–1500. New Delhi. 2010.
46. TRIVEDI R.K. Siddi: A Negroid Tribe of Gujarat. In: Census of India 1961. Vol. V. Pt. IV-B (1). Delhi. 1961; IBID. Selected Crafts of Gujarat: Agate Industry of Cambay…
47. BARNES R. Indian Cotton for Cairo: The Royal Ontario Museum's Gujarati Textiles and the Early Western Indian Ocean Trade. — Textile History. 2017. Vol. 48. No. 1, p. 15–30.
48. SHAIKH A.U. Made in India, Found in Egypt: Red Sea Textile Trade in the Thirteenth and Fourteenth Centuries. In: Heilbrunn Timeline of Art History. NY. Metropolitan Museum of Art. 2023. URL: https://www.metmuseum.org/essays/red-sea-textile-trade
49. GRAVES EYSSALLENNE J. Voices from the African Diaspora in India: Lyric Poetry in the Sidi Sufi Devotional Tradition. — Comparative Studies of South Asia, Africa and the Middle East. 2024. Vol. 44. No. 3, p. 508–520.

50. TRIVEDI R.K. Selected Crafts of Gujarat…
51. EATON R. Op. cit.
52. HANDLER J. From Cambay in India to Barbados in the Caribbean: Two Unique Beads from a Plantation Slave Cemetery. — African Diaspora Archaeology Newsletter. 2007. URL: http://www.diaspora.illinois.edu/news0307/news0307.html#1
53. Данное заявление верховного комиссара Индии в Нигерии было размещено на нигерийском новостном портале. См.: SHUAIBU I. Nigeria: India High Commission, Kano State Govt Renew Stronger Ties. — This Day. 2012. December 2. URL: https://allafrica.com/stories/201212031142.html
54. ALPERN S. What Africans Got for Their Slaves: A Master List of European Trade Goods. — History in Africa. 1995. Vol. 22, p. 5–43.
55. Ibidem; TRIVEDI R.K. Selected Crafts of Gujarat…
56. HANDLER J. Op. cit.
57. KOBAYASHI K. Indian Cotton Textiles in West Africa: African Agency, Consumer Demand and the Making of the Global Economy, 1750–1850. London. 2019.
58. Данные взяты из онлайн-архива судоходной компании Zeeland "The Unity 1761–1763". URL: https://eenigheid.slavenhandelmcc.nl/trajecten-van-de-reis-en/afrika-en/samenstelling-cargazoen/textiel-slavenhandel/?lang=en#
59. Ibidem.
60. PATTON S.F. The Asante Umbrella. — African Arts. 1984. Vol. 17. No. 4, p. 64–73, 93–94.
61. Ibid., p. 66.
62. BENJAMIN J. Historicizing Fashion in Western Africa: Global Linkages, Regional Markets, and Local Tastes, 1400–1850. In: Creating African Fashion Histories: Politic, Museums, and Sartorial Practices / Eds.: J. McGregor, H. Akou, N. Stylianou. Bloomington, IN. 2022.
63. EVENSON S.L. The Role of the Middleman in the Trade of Real Madras Handkerchief (Madras Plaids). In: Textile Society of America Symposium Proceedings. Lincoln, NE. 1990.
64. EREKOSIMA T.V., EICHER J.B. Kalabari Cut-Thread and Pulled-Thread Cloth. — African Arts. 1981. Vol. 14. No. 2, p. 48–51, 87.
65. EICHER J. India to Africa: Indian Madras and Kalabari Creativity. In: Global Textile Encounters / Eds.: M.-L. Nosch, Z. Feng, L. Varadarajan. Oxford— Philadelphia, PA. 2014.
66. EREKOSIMA T.V., EICHER J.B. Op. cit.
67. EICHER J. A Ping-Pong Example of Cultural Authentication and Kalabari Cut-Thread Cloth. In: Textile Society of America Symposium Proceedings. Lincoln, NE. 2004.
68. Sacred Waters: Arts for Mami Wata and Other Divinities in Africa and the Diaspora / Ed. H.J. Drewal. Bloomington, IN. 2008; RUSH D. The Idea of India, the Sea, and Shiva in West African Vodun…; IBID. The Idea of "India" in West African Vodun Art and Thought. In: India in Africa, Africa in India: Indian Ocean Cosmopolitanisms / Ed. J. Hawley. Bloomington, IN. 2008; HILL E.J. Oceanic Intersections: Boundary-Crossing Performances of Indian Images in Ewe and Guin-Mina Sacred Arts. — Africa. 2025. Vol. 95. No. 3, p. 238–257.
69. Данная информация была получена из бесед с Сэмюэлем Андерсоном, который занимается исламскими мистиками в Сьерра-Леоне.
70. JEYCHANDRAN N. Sai Baba, Ghana, and Oceanic Spiritual Crossovers. In: Devotional Spaces of a Global Saint: Shirdi Sai Baba's Presence / Eds.: S. Srinivas, N. Jeychandran, A. Roberts. London—NY. 2022.
71. SILVERMAN R.A. The Gods Wear Kente. In: Wrapped in Pride: Ghanaian Kente and African American Identity / Ed. D.H. Ross. Los Angeles, CA. 1998.

УДК 93/94
DOI: https://doi.org/10.31577/histcaso.2025.73.5.3
Статья поступила в редакцию 12.05.2026
Статья принята в печать 03.06.2026

Изменения в сфере услуг на железнодорожных вокзалах на примере заведений общественного питания

И. Якубец, Я. Штемберк

Аннотация. Цель статьи – показать развитие системы ресторанов на железнодорожных вокзалах и станциях в чешских землях с момента появления железнодорожного транспорта до второй половины XX в. Задача авторов состоит не в том, чтобы дать исчерпывающую характеристику отдельно взятым заведениям – это выходит далеко за пределы статьи, и не в фиксации на отдельных локациях. Авторы сосредоточили внимание на вокзальных заведениях общественного питания с точки зрения изменений в их работе, управлении, посетителях и обслуживании. Данная тема остается пока недостаточно разработанной. Статья основана главным образом на анализе чешских, австрийских и частично словацких архивных источников, дополненных мнениями, высказывавшимися в прессе того времени. В тексте прослеживаются истоки появления станционных ресторанов, снискавших себе блестящую репутацию во второй половине XIX столетия и превратившихся в центры современной гастрономии. Такие заведения не находились под прямым управлением администрации станций, а сдавались в аренду опытным рестораторам. Модель, которая учитывала профессиональные качества предпринимателя на прежнем месте работы, оказала благотворное влияние на репутацию вокзальных ресторанов. Высокий уровень обеспечивался в том числе определенным единством в дизайне помещений, что создавало впечатление единой сети качественных заведений общественного питания. «Золотой век» станционных ресторанов наступил на рубеже двух столетий. Импульсом к переменам стали появление вагонов-ресторанов и новшества в графике поездов, что стало отражением бурного развития транспорта. В межвоенный период большую популярность приобрели буфеты, предлагавшие быстрый и легкий перекус. После войны началось последовательное обобществление, которое, однако, привело не к повышению качества обслуживания, а к деградации заведений общепита. Рестораны при вокзалах приобрели «народный» характер.

Ключевые слова: железная дорога, вокзальные рестораны, рельсовый транспорт, железнодорожный вокзал.

Якубец Иван – доктор философии, доктор естественных наук, профессор, факультет искусств Института истории. Карлов университет. Прага. Чешская Республика. ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-9793-9254.
E-mail: Ivan.Jakubec@ff.cuni.cz;
Штемберк Ян – доктор философии, доктор права, доцент, факультет гуманитарных наук. Карлов университет. Прага. Чешская Республика. ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-8433-5769.
E-mail: jan.stemberk@fhs.cuni.cz.

Transformations of railway station services as exemplified by station restaurants

I. Jakubec, J. Štemberk

Abstract. The aim of the paper is to map the development of station restaurants in the Czech lands from the beginning of railway transport to the second half of the 20th century. Our goal is not to provide an exhaustive description of individual restaurants, which would be significantly beyond the scope of this article, nor to focus on specific locations. On the contrary, we want to focus on station restaurants from the point of view of changes in their operation, management, guests and services. This topic has not yet been sufficiently developed. The text is primarily based on the analysis of archival sources in Czech, Austrian and partly Slovak archives and supplemented by the views of contemporary newspapers and magazines. The text traces the reasons for the emergence of station restaurants, which built a very good reputation during the second half of the 19th century and became centres of modern gastronomy. The station restaurants were not operated directly by the railway administration, but were rented to experienced innkeepers. The chosen rental model, taking into account the professional qualities of the entrepreneur in the first place, contributed to building the reputation of station restaurants. Maintaining a high level of station restaurants was also helped by a certain design unity in the facilities. This created the impression of a unified network of quality catering establishments. Station restaurants reached a golden era at the turn of the 19th and 20th centuries. The impetus for the changes was the emergence of dining cars and changes in the concept of timetables reflecting the acceleration of transport. In the interwar period, the popularity of buffets offering quick and easy refreshments grew. In the post-war period, consistent socialization began, which, however, did not bring an increase in the quality of services, but rather their decline. Station restaurants gained a folk character.

Key words: railway, station restaurants, rail transport, railway station.

Jakubec Ivan – Prof. PhDr., CSc. Faculty of Arts, Institute of History, Charles University. Prague. Czech Republic.
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-9793-9254.
E-mail: Ivan.Jakubec@ff.cuni.cz;
Štemberk Jan – Doc. JUDr. PhDr. Faculty of Humanities, Charles University. Prague. Czech Republic.
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-8433-5769.
E-mail: jan.stemberk@fhs.cuni.cz.

Оригинал статьи:
Historický časopis. 2025. Vol 73. No. 5, p. 929–947
URL: https://www.historickycasopis.sk/index.php?id=hc52025-jakubec-ivan-stemberk-jan-transformations-of-railway-station-services-as-exemplified-by-station-restaurants

Введение. Для своего времени железная дорога являлась быстрым, удобным и недорогим видом общественного транспорта. Ее преимущества особенно наглядно проявлялись при путешествиях на большие расстояния. Однако в пути пассажирам нередко требовалось подкрепиться. До появления железных дорог с аналогичной проблемой столкнулся каретный транспорт. Пассажирам почтовых карет хотелось утолить голод и жажду. Это способствовало тому, что постоялые дворы стали предлагать путешественникам перекусы на промежуточных остановках. Железные дороги, которые в течение XIX в. превратились в транспорт больших расстояний, таким образом, почерпнули вдохновение в этой системе, и рестораны при вокзалах и станциях постепенно взяли на себя роль, которая прежде принадлежала постоялым дворам.

В рамках настоящей статьи мы сосредоточимся на развитии заведений общественного питания на вокзалах и станциях в чешских землях с момента появления железнодорожного транспорта до второй половины XX столетия. Наша задача состоит не в исчерпывающем описании отдельных заведений, которое бы значительно превысило объем настоящей статьи, и не в сосредоточении внимания на определенных локациях, так как этот вопрос уже достаточно хорошо изучен [1]. Мы рассмотрим заведения общепита на вокзалах с позиции их функционирования, управления, гостей и обслуживания. Данная тема пока не получила должного развития. Текст основан на анализе архивных источников, дополненных сообщениями прессы того времени.

Истоки железнодорожного ресторана. Самый старый ресторан при железнодорожной станции в Центральной Европе был заложен в верхнеавстрийском селе Кершбаум на конной железнодорожной ветке Линц – Ческе-Будеёвице неподалеку от чешской границы. График движения был составлен так, чтобы в обеденное время маршруты поездов, отправившихся утром с конечных станций, пересекались именно здесь. Это давало пассажирам отличную возможность перекусить до пересадки – соответствующий перерыв в движении также закладывался в расписание. Чешский историк Константин Йиречек отмечал в своих воспоминаниях, что ланч, который подавали на длинном столе, накрытом белоснежной скатертью, был «вполне неплох» [2].

Трактиры стали обычным явлением на крупных железнодорожных вокзалах, где были условия для их открытия. Традиционно они являлись неотъемлемой составляющей конечных станций. Постепенно они стали открываться на пересадочных железнодорожных узлах и станциях с интенсивным движением (в курортных и санаторных местах). Нам часто встречались рестораны, предусмотренные в самой планировке станционных зданий. Если необходимость в подобном заведении возникала

позднее (строительство подъездного пути и т.д.), оно становилось частью плана реконструкции вокзала или просто его дополнением.

Основы функционального обустройства железнодорожных вокзалов, опубликованные в 1838 г., уже подразумевали наличие помещений для временного комфортного пребывания пассажиров в соответствии с классом вагона [3]. Таковы были нормы комфорта, и его обеспечение стало основанием для разделения помещений залов ожидания и ресторанов на вокзалах вплоть до второй половины XX в. В XIX столетии было принято совмещать зал ожидания и ресторан. Пребывание пассажиров в зале ожидания, таким образом, можно было сделать более приятным, предлагая им еду и напитки. Как и залы ожидания, помещения ресторанов подразделялись на классы. Залы ресторанов первого и второго классов обычно были общими, и обладателям билетов первого класса, которых, как правило, было немного, предлагались специальные комнаты для обеспечения приватности и комфорта. Заведения, предназначенные для путешествующих третьим классом, наиболее многочисленной категории пассажиров, напоминали упомянутые выше постоялые дворы [4].

Статус «станционного ресторана» не требовал, чтобы заведение находилось непосредственно в здании вокзала. В зависимости от технических возможностей станции (вокзала), ресторан мог располагаться рядом с ее основным зданием. Такая ситуация была типичной для Северной железной дороге императора Фердинанда. Станционные трактиры управлялись семьями местных предпринимателей. Открытие ресторана за пределами станции не всегда указывает на раннюю фазу развития железных дорог (как, например, в середине 1870-х в Броумове). С желанием повысить уровень комфорта пассажиров связано и очевидное стремление располагать помещения ресторанов как можно ближе к платформе. Такое местоположение позволяло пассажирам быстро перекусить, для чего им даже не надо было покидать пределы вокзала. Вокзал являлся местом с высоким пассажиропотоком, поэтому должно было быть обеспечено достаточное количество обеденных порций. Аналогично Кершбауму ряд вокзалов (Ческа-Тршебова, Пршеров, Ческе-Веленице) были непосредственно ориентированы на питание пассажиров, и даже расписание поездов предусматривало более длительную остановку на них. Повышение уровня комфорта пассажиров выражалось в возможности заказать еду и напитки заранее для ускорения обслуживания. Пассажир мог выбрать закуски и напитки из меню в поезде и сообщить об этом проводнику, который передавал заказ по телеграфу для его своевременной доставки в ресторан на станции назначения. Таким образом, пассажира сразу по прибытии ждала готовая еда. С середины 1870-х гг. на станциях стали появляться бары и обеденные стойки для быстрого перекуса с ограниченным ассортиментом блюд. На более крупных станциях и вокзалах работа кухни, включая хранение продуктов, была сосредоточена в подвалах зданий [5].

Для станционных ресторанов не являлось необычным перемещение в пределах вокзала, как правило, при необходимости

расширения обслуживающих помещений. В некоторых случаях этот вопрос решался заполнением новых крыльев здания вокзала (например, современный вокзал Масарика в Праге). Рестораны также закладывались при реконструкции вокзалов. Во время возведения пересадочной станции Государственной железнодорожной компании и соединительной ветки Север – Юг Германии в Пардубице в 1857 и 1858 гг. помещение под ресторан было значительно расширено. Он стал включать обеденный зал, закусочную, кухню и апартаменты владельца. Зона хранения была запланирована в подвале. Изначально же ресторан представлял собой кухню с обеденным залом, который непосредственно примыкал к залу ожидания [6].

Управление ресторанами. С начала работы железных дорог в чешских землях появилось правило, согласно которому, рестораны управлялись не администрацией железной дороги, а третьей стороной по контракту. Для ресторанов, располагавшихся непосредственно в зданиях вокзалов, применялась лизинговая система. Такие заведения представляли собой очень привлекательный бизнес, который был востребован управляющими ресторанов. Потенциальный поток клиентов на железнодорожном вокзале был несравнимо выше, чем в других городских местах, а стоимость аренды примерно равнялась средней по городу. В рекламных колонках газет второй половины XIX в. регулярно встречаются предложения о сдаче в аренду станционных ресторанов. Конкурсы по аренде привлекали многочисленных участников, из которых необходимо было выбирать. В эпоху частных железнодорожных компаний выбор арендаторов являлся их частным делом. Критика выбора того или иного станционного ресторатора в чешских землях была направлена главным образом на их национальную ориентацию, недостаточное знание Чехии и предпочтение немцев в качестве арендаторов.

Согласно Кодексу о лицензировании торговли (патент № 229/1859, Имперский кодекс, § 16), предпринимательство в сфере общественного питания являлось лицензированной торговлей. Арендатор перед открытием предприятия общепита должен был получить разрешение. Если он мог подтвердить факт аренды, то, как правило, получал лицензию. С учетом интересов пассажиров решения по лицензиям должны были приниматься как можно быстрее, чтобы заведение не простаивало.

С позиции железнодорожных компаний, а позднее и государственных железных дорог большинство ресторанов должны были сдаваться в аренду на схожих условиях. Заключавшиеся контракты стали скорее простой формальностью и содержали общие термины и условия, менялись лишь имена арендаторов и местонахождение сдаваемых внаем заведений. Другие пункты, включая часы работы, объем минимального предложения по еде и напиткам, меблировку, ценовую политику, а также допустимую минимальную температуру в помещении, были стандартны для всех вокзальных ресторанов железнодорожной компании [7]. Это также формировало определенный корпоративный бренд. Рестораны, не относившиеся к компании, тем не менее также походили друг на друга, и пассажир мог рассчитывать на схожий уровень обслуживания.

Условия для рестораторов на Австрийской северо-западной железной дороге на рубеже 1860-х и 1870-х гг. предусматривали, что за меблировку ресторана отвечает владелец, а арендатор не имеет права что-либо добавлять или менять без его согласия. Ресторатор-съемщик был ограничен и в выборе посуды, столовых приборов и текстиля, которые также необходимо было согласовывать с железнодорожной компанией. Все это гарантировало единство дизайна. Оборудование, разумеется, должно было содержаться в исправном состоянии. Арендатора могли попросить обустроить и обслуживать уборные для гостей за счет собственных средств. Если в здании имелись подходящие помещения, ему могли разрешить открыть гостиницу. В целях получения компанией-перевозчиком обратной связи от гостей от ресторатора требовали иметь в ближайшем доступе книгу жалоб (§ 9). Железнодорожная компания также была ответственна за разрешение курения в помещениях ресторанов (§ 13). Обязанности по ежедневной уборке, освещению и отоплению помещений (§ 20) детально оговаривались. Температурный режим необходимо было поддерживать на уровне 17,5–20 °C, а освещение – такой интенсивности, которая бы позволяла читать за любым столом, предназначенным для гостей. Часы работы должны были совпадать с расписанием поездов и утверждались компанией-перевозчиком. Продукты и напитки, которые предлагались гостям, должны были быть высокого качества. Прейскурант также заранее согласовывался с железнодорожной компанией. В летние месяцы рестораторам настоятельно рекомендовалось подавать гостям охлажденное пиво. Распространять еду и напитки вблизи станции (на платформах и в вагонах), а также торговать табачной продукцией ресторатор мог лишь с особого разрешения [8].

Национализация железнодорожных компаний, разумеется, сказалась и на вокзальных ресторанах. «Австрийские железные дороги», составляя основу арендных соглашений, утвердили действовавшую до этого модель лизинга, а также общие положения и условия договоров аренды. Ответственность за сдачу в аренду возлагалась на отдельные управления государственных железных дорог. На первый взгляд, как будто бы ничего не поменялось. Оснащение станционных ресторанов, включая кухню, все так же обеспечивалось самой администрацией железной дороги, и, таким образом, сохранялся единый стиль вокзалов. Железнодорожная администрация принимала решение о расстановке столов и общем виде заведения. Ресторатор, как и прежде, не мог самостоятельно выбрать дизайн стульев, столов, внешний вид светильников и т.п. Ремонт оборудования и мебели ресторана также находился в ведении железнодорожной администрации. От ресторатора требовалось содержать оборудование в исправности. Он был обязан самостоятельно закупать столовые приборы, посуду, текстиль и т.д., а на крупных вокзалах – также специальные наборы для гостей из высших аристократических кругов, при этом надо было придерживаться общего стиля, рекомендованного железнодорожной администрацией. Общие положения постепенно расширялись, к ним добавлялись новые, такие как обеспечение

провизией и напитками железнодорожных служащих по закупочным ценам, продажа почтовых марок, конвертов и почтовых карточек. Управление железной дороги также принимало решение относительно газет и журналов, которые предлагались гостям в ресторане, чтобы скоротать время [9]. Интересна оценка всего происходящего самими рестораторами. По их мнению, дела шли гораздо лучше во времена частных железнодорожных компаний, и требовали снижения арендной платы и большей сговорчивости арендодателей. На их взгляд, государственные компании были очень косными, а общение с ними – бюрократизированным. Кроме того, рестораторы критиковали новые положения арендных договоров, которые подразумевали скидки на продукты и напитки для работников железной дороги [10].

В правилах аренды станционных ресторанов, выпущенных австрийским Министерством железных дорог, подчеркивалось, что основная цель таких заведений – приносить пользу пассажирам. Они должны предлагать качественную и дешевую еду и напитки. Выгода для управления железной дороги была вторична. Компетентность и опыт претендента были важнее, чем предлагаемая арендная плата. Также подчеркивалось, что аренда должна быть предоставлена на основе открытого конкурса, однако при этом сохранялась возможность сдачи в аренду объекта конкретному лицу. Директор Государственных железных дорог в особых случаях сам принимал решение по процедуре [11]. Интересно отметить при этом, что такую же роль отводил вокзальным ресторанам Зденко Куттиг, операционный директор Северной железной дороги имени императора Фердинанда. Он особо подчеркивал, что главная задача станционных заведений общепита – восстанавливать силы пассажиров и делать их путешествие более приятным, а не зарабатывать деньги для компании [12].

Железнодорожная компания контролировала действия арендатора и предложения для посетителей в течение всего срока аренды. Нарекания в отношении выбора и качества продуктов могли стать основанием для прекращения арендного договора. Договоры заключались на неопределенный срок с возможностью расторжения по инициативе любой из сторон. За уровнем сервиса следили как администрация станции, так и руководство компании-перевозчика, которая нередко использовала станционные рестораны во время передвижений своих сотрудников, а также сами пассажиры, которые могли выразить свое мнение в книге жалоб. Рестораны большинства вокзалов предлагали пиво известных марок, а также местных производителей. Северная железная дорога императора Фердинанда прямо указывала рестораторам, какое пиво подавать. На промежуточных станциях обычно предлагали продукцию местных пивоваров. В межвоенный период местные пивовары старались арендовать станционные рестораны. Они также стремились увеличить свою прибыль путем продажи рестораторам по выгодным ценам оборудования для баров (стойки, краны, компрессоры, холодильные системы и т.д.) [13]. Управление железной дороги могло прямо влиять на предложения ресторана в течение всего периода аренды. Недовольство отсутствием безалкогольных

напитков и давление со стороны сельскохозяйственного лобби привело к тому, что Министерство железных дорог Цислейтании (Австрии) в 1904 г. предписало станционным ресторанам обеспечить доступность молочной продукции для пассажиров.

После национализации железных дорог в конце XIX в. заключение договоров аренды попало под пристальное внимание прессы. Националистическая критика росла, особенно в вопросе предпочтения даже в чешской провинции немецких арендаторов, не говоривших по-чешски. Внутренним языком в системе австрийских железных дорог был немецкий (постановление Министерства торговли № 103/1884 Имперского кодекса), однако во взаимодействии с пассажирами использовались языки, на которых говорили в той или иной местности. В чешской глубинке даже двуязычные объявления (на чешском и немецком) о продаже пива и сосисок вызывали раздражение [14].

После образования Чехословакии ситуация изменилась. Вместе с чешскими сотрудниками железных дорог в пограничных регионах появились и чешские рестораторы. При заключении договоров аренды станционных ресторанов был также очевиден фаворитизм в отношении борцов за государственность (например, легионеров) и ветеранов войны. Многие новые арендаторы в пограничных районах являлись бывшими легионерами. Тот факт, что это был политический момент, подтвердило само Министерство железных дорог, продемонстрировав готовность взаимодействовать с легионерами (предлагая им скидки на аренду и не беря в расчет скромный профессиональный опыт). Оно делало акцент на их национальном вкладе в богемизацию этой сферы и на сложных условиях для ведения дел, что вызывало отторжение у местного немецкого населения.

Все вышесказанное относилось и к курортному городку Карлови-Вари. Ресторан на вокзале в 1924 г. арендовал легионер Франтишек Кафка. Несмотря на частые жалобы на качество еды и высокие цены, Чехословацкие государственные железные дороги поддерживали его. Хотя там были осведомлены о плохом управлении, не соответствовавшем уровню курорта, предпочли закрыть глаза на эти недостатки [15]. После уступки приграничной зоны Германии на основании Мюнхенского договора чешским арендаторам пришлось снова уйти из приграничного региона. Это был как раз случай Йозефа Шишки на вокзале Шпичак в Южной Богемии [16].

В годы Первой мировой войны поток инвестиций практически иссяк. В начале 1920-х гг. имущество можно было в лучшем случае охарактеризовать как эксплуатируемое – хотя нередко оно было в плохом состоянии. Аналогичная тенденция сохранялась и в послевоенный период. Стертые полы, прогоревшие кухонные плиты, потрепанные интерьеры являлись нормой. Мебель (столы, стулья и т.д.), которую закупала администрация железной дороги, также была изношенной. Железные дороги не имели средств на покупку новой обстановки. Рестораторы понимали, что несвежие помещения ресторанов вряд ли привлекут гостей, поэтому стали вкладывать собственные средства в обновление мебели и кухонного оборудования. При этом, если договор

аренды расторгался, они рисковали потерять вложенные деньги. Согласно Общим положениям и условиям договоров аренды ресторанов на железнодорожных вокзалах, вышедшим уже после основания Чехословацких государственных железных дорог, контракты все так же подписывались на неопределенный срок, и администрация железных дорог сохранила право в одностороннем порядке расторгать договор без указания причин с предупреждением за полгода. При таких условиях крупные вложения были рискованными.

Рестораторы обращались к Чехословацким железным дорогам, предлагая инвестировать средства при условии, что заключенные с ними соглашения не будут разорваны до истечения определенного времени, то есть требовали определенной безопасности для своего бизнеса. В ноябре 1926 г. административный совет Министерства железных дорог одобрил решение, что в исключительных случаях – когда ресторатор «прекрасно зарекомендовал себя» и был отмечен вложением значительных средств в интерьер и оснащение своего заведения – в договор аренды вносился пункт, согласно которому, его нельзя было расторгнуть по инициативе Чехословацких железных дорог в течение пяти лет [17]. Первый договор аренды подобного рода был заключен с Франтишком Паплганом, который с 1919 г. управлял рестораном на пражском вокзале Масарика и значительно модернизировал его [18]. В 1931 г., отстаивая интересы рестораторов на железной дороге, Ф. Паплган основал Союз железнодорожных рестораторов в Чехословацкой республике [19].

В соответствии с Общими терминами и условиями договоров об аренде заведений общественного питания на железнодорожных вокзалах и станциях Чехословацкие государственные железные дороги должны были продолжать обставлять обеденные зоны для пассажиров «в том стиле и количестве, которые сочтут целесообразными, включая расстановку предметов мебели; ресторатор не может без особого разрешения администрации железнодорожной станции устанавливать другую мебель или менять ее расположение». Любое другое оборудование, необходимое для обеспечения деятельности заведения или сдаваемых внаем комнат, должно было приобретаться за счет средств арендатора, но «в количестве, которое администрация станции сочтет необходимым» [20]. От ресторатора администрация станции требовала поддерживать оборудование в рабочем состоянии. Если оборудование было уже плохо пригодно для дальнейшей эксплуатации, ресторатор был обязан заменить его за счет собственных средств, действуя по инструкциям государственной железнодорожной компании и приобретая оборудование только предписанных типов. Реальность, однако, была иной. Администрация станций все чаще прекращала поставки какого-либо оборудования. Имеющееся было сильно изношено, и для создания приятной атмосферы рестораторы предпочитали приобретать обстановку за свой счет. Во второй половине 1930-х гг. дирекция железной дороги Градец-Кралове даже рассматривала принудительную стандартизацию мебели в вокзальных ресторанах как вмешательство в дела арендаторов [21].

«Общие термины и условия» включали и другие вопросы обеспечения комфорта пассажиров. Рестораны и залы ожидания должны были открываться и прогреваться до температуры не ниже 16 °C (около 61 °F) по меньшей мере за час до прибытия или отправления первого поезда. С одобрения начальника станции ресторатор мог выбрать режим круглосуточной работы. Уборка помещений должна была проводиться регулярно после закрытия либо – в случае круглосуточной работы – в присутствии минимального количества посетителей.

«Условия» также открывали возможность модернизации. Хотя в них не устанавливались конкретные правила отопления и освещения помещений, они наделяли администрацию вокзала или станции правом в любое время взять на себя обеспечение коммунальных благ в обмен на финансовую компенсацию по фиксированной ставке. В межвоенный период традиционные печи на железнодорожных вокзалах были постепенно заменены центральным отоплением. То же касалось электрического освещения – оно было проведено в рамках общей электрификации страны. При возможности установки сантехнического оборудования разрешалось пользоваться централизованным водоснабжением [22].

Частые и обоснованные жалобы «на низкое качество и скудный ассортимент блюд и напитков либо на плохое обслуживание» являлись достаточной причиной для расторжения договора аренды. Такие же последствия могло повлечь несоблюдение режима работы [23].

Рестораторы были ограничены в предложении и ценовой политике. Стоимость блюд не должна была превышать местные цены и утверждалась районным управлением. Администрация железной дороги также держала на контроле уровень цен. В 1930-х гг. появилась тенденция предлагать комплексные меню по приемлемой стоимости.

Чешские рестораторы проявляли активность не только на железнодорожных вокзалах близ чешских границ (Судеты), но и в Словакии. Это вызывало острую критику. Следует, однако, отметить, что многие привокзальные рестораны (например, Кисак) были значительно усовершенствованы благодаря чешским управляющим и в итоге завоевали прекрасную репутацию [24]. Экономический кризис 1930-х гг. оказал большое влияние на управление ресторанами при станциях. В наиболее сильно затронутых кризисом промышленных районах количество посетителей упало почти наполовину. Это привело к росту требований сократить арендную плату [25]. Размер арендной платы устанавливался при заключении договора и впоследствии мог корректироваться в сторону повышения или понижения, в зависимости от финансовых итогов. В соответствии с внутренними правилами Чехословацких железных дорог он должен был зависеть от полученного валового дохода (от 4 до 8 %). Таким образом, на размер арендной платы влиял успех предприятия [26]. В межвоенный период бурного развития популярность завоевали стойки быстрого питания. Главным образом по инициативе местных пивоварен строились различные заведения общепита в тех местах, где их

до сих пор не было, но меняющиеся модели пассажиропотока диктовали такую необходимость. Это были простые постройки, без претензий на особый комфорт [27].

Война также не обошла стороной вокзальные рестораны. В начале оккупации в протекторате насчитывалось 117 действующих ресторанов и 84 буфета – более простых заведений с ограниченным выбором блюд [28]. Война принесла первую волну нарушения привычного распорядка и ограничений для ресторанов. Возросшая интенсивность движения требовала увеличения пространства на железнодорожных станциях. Рестораторам несло выгоду Постановление № 179/1939, действовавшее в период оккупации и запрещавшее повышать арендную плату [29]. Станционные рестораны были предметом ограничений, которые накладывались на заведения общепита в целом на протяжении периода военной экономии (и проявлялись во введении продуктовых карточек, постных дней и т.д.) [30]

Гости. Посетителями станционных ресторанов были преимущественно путешественники. Однако со временем стала претворяться в жизнь идея доступа туда для всех желающих. Во второй половине XIX в. и даже в начале XX в. рестораны при железнодорожных вокзалах имели блестящую репутацию и часто являлись образцовыми заведениями общепита во всем городе. Залы, предназначенные для пассажиров первого и второго классов, соперничали с ресторанами самых роскошных отелей. Эти помещения были востребованными и часто несли атмосферу экзотики благодаря интернациональной клиентуре. Кроме того, они нередко становились первым впечатлением от города или страны.

Известен был ресторан, располагавшийся на нынешнем главном вокзале Праги, основанный в 1890-х гг. и связанный с именем Франтишека Завржела, а позднее – его сына Зденека. Также хорошо зарекомендовали себя заведения Антонина Паплгана на пражском вокзале Масарика и Индржиха Горака на главном вокзале Брно. Многие пассажиры планировали свои поездки с учетом посещения этих ресторанов – а иногда делали эти визиты основной целью своих остановок.

В начале XX столетия держатели станционных ресторанов начали высказывать опасения по поводу ухудшения условий ведения бизнеса и снижения количества гостей. Они подчеркивали, что поезда дальнего следования были преимущественно укомплектованы вагонами-ресторанами. Сокращение времени подачи состава и продолжительности стоянки также вызывали неудобства. Кроме того, преобладание прямых рейсов означало, что у пассажиров часто не было причин выходить из состава на промежуточной станции [31]. Для защиты интересов рестораторов в 1910 г. была основана Ассоциация рестораторов на австрийских железнодорожных вокзалах. Первым президентом Ассоциации являлся Франтишек Завржел, держатель ресторана на пражском вокзале императора Франца-Иосифа (ныне – Главный вокзал) [32]. Цель ассоциации также состояла в обслуживании путешествующей публики. Одна особенно интересная идея заключалась во введении системы возвратных пивных кружек: пассажир мог оплатить напиток, дать залог, взять кружку с собой в поезд и вернуть ее на следующей станции, забрав депозит [33].

Работники железной дороги сами нередко посещали станционные рестораны. Национализация железнодорожных компаний повлияла и на их сотрудников, превратив их в государственных служащих. Рестораторы снова были обязаны делать им скидки на блюда и предоставлять наиболее удобные места. Таким образом, рестораны на станциях взяли на себя роль столовых для железнодорожного персонала, который рассчитывал на скидки. В эпоху Австро-Венгерской монархии рестораторы были обязаны обеспечивать питанием и напитками работников железной дороги по себестоимости. Чехословацкие государственные железные дороги в договорах аренды требовали, чтобы рестораторы предоставляли сотрудникам и членам их семей скидку на блюда в размере 25 %. Если требовался ночлег, работники железной дороги получали его со скидкой 50 % от стоимости номера [34].

Помимо собственно управления заведением, рестораторы могли предлагать сервис на платформах – что включало доставку еды и напитков пассажирам, ожидающим поезд. В некоторых случаях администрация железной дороги могла регламентировать эту услугу, если считала нужным. Обычно услуга включала пиво и хот-доги [35]. Рестораторы были обязаны четко указывать стоимость всей продукции, которая продавалась у поездов. Разумеется, это правило часто игнорировали, оправдываясь тем, что, мол, ценник унесло воздушным потоком от проходящего поезда. Осенью 1925 г. на собрании Центрального железнодорожного совета Чехословакии было одобрено предложение, которое требовало от станционных заведений общепита предлагать пассажирам безалкогольные напитки (минеральную воду, содовую, простую воду летом) в дополнение к алкогольным. Данные по отдельным станциям показали, что пик популярности безалкогольных напитков приходится на летние месяцы, тогда как зимой интерес к ним значительно ослабевал – настолько, что многие рестораторы предпочитали в это время вовсе не предлагать их в поездах. Например, в регионе Градец-Кралове бóльшим спросом пользовались фрукты, чем напитки [36].

Алкогольные напитки стали темой широких дискуссий. Алкоголь часто являлся причиной деструктивного поведения отдельных пассажиров поездов, что доставляло неудобства их попутчикам. Еще бóльшую проблему представляли сами железнодорожные служащие, употреблявшие спиртное по дороге на службу или прямо на рабочем месте. Хотя должностные инструкции запрещали выпивать в рабочее время, на практике это никого не останавливало. В межвоенный период управление железной дороги Градец-Кралове предложило включать в договоры аренды станционных ресторанов пункт, который бы запрещал вокзальным ресторанам предлагать спиртное – даже пиво – работникам железной дороги. Взамен у них должны были быть в наличии безалкогольные напитки и – особенно зимой – чай, кофе в доступе для железнодорожников [37]. Чрезмерное потребление алкоголя могло привести к несчастным случаям. Инженерам долгое время разрешалось слабоалкогольное пиво, чтобы освежаться в жаркую погоду, однако прочее спиртное было под запретом. В 1950-х – начале 1960-х гг. распитие спиртных напитков на рабочем месте

железнодорожными служащими превратилось в серьезную проблему – и по иронии судьбы оно происходило именно в ресторанах на станциях. Печально известное происшествие случилось 28 мая 1953 г. близ г. Стари-Смоковец, когда вся поездная бригада напилась крепкого ликера в станционном заведении. Спиртное дало машинисту ложную уверенность в правильном выборе скоростного режима при прохождении участка пути, не рассчитанного на высокую скорость. В результате состав сошел с рельсов на повороте и перевернулся [38].

Подобные случаи вынуждали администрацию выступить с повторными предложениями о запрете продажи алкогольных напитков в привокзальных ресторанах, но на практике этим ограничениям никто не следовал. Это относилось и к крепкому пиву, продажа которого вызывало неудовольствие инспекторов в ходе проверок соблюдения культуры путешествий [39]. Закон № 120/1962 по борьбе с алкоголизмом запрещал употребление спиртного лицам, чья работа требовала высокой концентрации внимания. Документ также запрещал рестораторам предлагать спиртное таким работникам. Нарушение могло привести к штрафу или административному взысканию согласно § 11.

Адаптация станционных ресторанов к социализму. Период после Второй мировой войны не принес никаких значимых перемен в деятельность заведений общепита на железнодорожных вокзалах и станциях. Традиционная система аренды действовала, как и раньше. Чешские рестораторы начали возвращаться в приграничные чешские и моравские земли – сначала как администраторы, а позднее и в качестве арендаторов. Среди претендентов на аренду ресторанов вышел на авансцену и стал набирать популярность Фонд Масарика для занятых на железной дороге – благотворительная организация для железнодорожников.

Из его финансового подразделения в 1946 г. был образован Кооператив работников железной дороги по обслуживанию пассажиров (Železničářské družstvo pro službu cestující veřejnosti). Это объединение, тесно связанное с железнодорожными служащими, быстро стало фаворитом в конкурсах для арендаторов в период послевоенных экономических изменений, когда государство поддерживало кооперативы.

По состоянию на май 1948 г. Кооператив управлял 25 ресторанами на крупных железнодорожных станциях [40] с оборотом 160 млн чехословацких крон. Чехословацкие государственные железные дороги и Кооператив согласовали поглощение последним всех дополнительных станционных и бортовых служб (комнат отдыха, душевых, перемещения багажа, железнодорожной рекламы, вагонов-ресторанов, спальных вагонов и т.д.) [41] В конце 1948 г. было решено, что Кооператив не будет национализирован и возьмет на себя все вспомогательные (не связанные с транспортом) услуги, которые оказывали Чешские железные дороги. В течение 1949 г. Кооператив должен был поглотить все станционные и вокзальные рестораны и полностью вытеснить частную инициативу из этой сферы [42]. В середине года под управлением Кооператива находилось уже 170 заведений [43], а еще через год – все вокзальные рестораны [44].

Железнодорожный кооператив по обслуживанию пассажиров, с апреля 1949 г. известный как Кооператив пассажирской общественности (Družstvo cestující veřejnosti), активно включился в социалистическую переориентацию бизнеса, связанного с железными дорогами, в чешских землях. Он активно вел переговоры с арендаторами заведений о поглощении их бизнеса. Для этого привлекались комиссии работников, и, видимо, сочетая давление, ограничение поставок сырья и обещания светлого будущего, его представители склоняли ресторатора к сотрудничеству и вступлению в Кооператив. Обычно предполагалось, что ресторатор продолжит свое дело, но не как индивидуальный предприниматель, а как работник Кооператива, пусть даже в должности управляющего рестораном [45]. Следует напомнить, что Кооператив уделял особое внимание ресторанам при станциях и вокзалах, тогда как прочие службы оставались по большей части вне его поля зрения. Разумеется, предварительно был проведен анализ, какие услуги приносят больше дохода. Кооператив, конечно же, преподносил свою деятельность как верный путь повышения качества обслуживания пассажиров.

Он основал школу для своих работников в Еванах [46]. В начале 1949 г. более половины всего оборота станционных ресторанов (400 млн чехословацких крон) приходилось на заведения, находившиеся под управлением Кооператива [47]. Иная ситуация сложилась в Словакии, что объяснялось другими обстоятельствами, сложившимися к концу войны. Здания железнодорожных станций, включая рестораны, находились здесь в значительно худшем состоянии после прохождения фронта. Чехословацким государственным железным дорогам было не под силу заниматься их реконструкцией единолично, поэтому они более тесно взаимодействовали с арендаторами, которые нередко проводили ремонт собственными силами. Эти вложения постепенно возмещались путем снижения арендной платы.

В Словакии насчитывалось 59 ресторанов на вокзалах и станциях: 25 – в районе, находившемся в ведении Управления железной дороги Кошице и 34 – в районе Братиславы. Из них только 12 были в аренде у Фонда Штефаника для железнодорожных служащих, словацкого аналога Фонда Масарика. Остальные находились в частных руках – как правило, у лиц, получивших признание за свое участие в Словацком национальном восстании. Ожидалось, что Словакия пойдет по чешскому пути – искоренения частной инициативы и передачи железнодорожных ресторанов в управление кооперативу железнодорожников [48].

Дальнейшее развитие ситуации привело к централизации. Кооператив виделся временной структурой, призванной ликвидировать частное предпринимательство. Как только эта задача была решена, появилась новая цель – переход к высшим формам, например национальному предприятию. Была учреждена центральная администрация совместно с Министерством внутренней торговли для государственных отелей, станционных ресторанов и вагонов-ресторанов, которая взяла на себя эти функции. В 1951 г. под эгидой Министерства внутренней торговли были созданы национальные предприятия, ориентированные на регионы (национальное предприятие «Станционные рестораны г. Либерец»,

национальное предприятие «Валашско-словацкие станционные рестораны»).

В 1952 г. между Министерством железных дорог и Министерством внутренней торговли было подписано рамочное соглашение. Аренда стала регулируемой и стандартизированной: в начале 1950-х гг. годовая арендная плата была установлена в размере 144 чехословацких крон за квадратный метр за комнаты и киоски [49]. В конце концов централизованному регулированию подверглись даже цены на продукты и напитки: во всех ресторанах на станциях они были одинаковы (например, 10 чехословацких крон за пиво крепостью 10 градусов) [50].

Региональные предприятия по управлению станционными ресторанами были временными организациями. С июля 1953 г. сфера общепита перешла к организации «Рестораны и столовые» (Restaurace a jídelny, RaJ) и управлялась региональными народными комитетами. Их задача заключалась в организации работы предприятий общественного питания в отдельных регионах. После проведения в 1960 г. административной реформы управление предприятиями RaJ было передано районным народным комитетам [51]. Лишь небольшая доля станционных ресторанов перешла под юрисдикцию компании «Вагоны-рестораны и спальные вагоны» (Центральный железнодорожный вокзал Праги), которая, как следует из ее названия, обеспечивала работу вагонов-ресторанов и спальных вагонов на железнодорожных линиях [52].

Заметный упадок в сфере железнодорожных ресторанов начался в первой половине 1950-х гг. В условиях масштабных социальных перемен разделение помещений по классовому принципу было упразднено, и заведения приобрели более «народный», «рабоче-классовый» характер. Этот сдвиг выразился в понижении их ценовой категории, с соответствующими корректировками меню и качества обслуживания. Развитие затруднялось низкими вложениями в модернизацию. Жалобы на отсутствие чистоты, качество продуктов и отношение персонала все чаще стали появляться в прессе. От белого столового текстиля, сложного в уходе, постепенно отказались. Снижение уровня стало частью общих процессов в сфере гастрономии, наблюдавшихся в Чехословакии на протяжении 1950-х гг. [53] Мебель в большинстве заведений осталась еще с межвоенного периода. Посещаемость также упала, следствием чего стало закрытие наименее популярных заведений. В середине 1960-х гг. была попытка обратить эту тенденцию вспять в рамках развития туризма. Новые переговоры между министерствами транспорта и внутренней торговли имели целью повышение качества услуг в сфере общепита. Это нашло отражение в новом рамочном соглашении, подписанном в 1965 г. Особая форма работы ресторана на станции или вокзале должна была закрепляться договоренностью между начальником станции и компанией RaJ [54]. Однако соглашение не принесло кардинальных изменений в эту сферу, и спад продолжился.

В целях повышения скорости услуг питания повсеместно стали открывать кафетерии самообслуживания. В таких заведениях покупатели получали заказ на стойке обслуживания и затем самостоятельно несли к столику. Мнения современников о таком

формате разделились. С одной стороны, несомненным плюсом были скорость и экономия на персонале, с другой – высказывалось недоумение, как пассажиры с багажом и маленькими детьми понесут поднос с едой. Организация RaJ, руководствуясь финансовыми соображениями, однозначно выступала за превращение традиционных ресторанов в пункты самообслуживания. Попытки Чехословацких государственных железных дорог вернуть заведения с полным спектром услуг встретили жесткое сопротивление [55].

В то же время все менее востребованными становились услуги продавца – разносчика питания на железнодорожных платформах. Отчасти это было связано с сокращением времени стоянки поездов на вокзалах. К 1960-м гг. эта услуга сохранилась только на крупных вокзалах. Для компании RaJ это была услуга, которую она все больше старалась ограничить. Частичной заменой услуги стали киоски быстрого питания, размещенные на отдельных платформах. Нововведением этого периода стал также запуск автоматов с едой [56], что нередко создавало сложности. Киоски на платформах мешали движению пассажиров, и создававшиеся очереди могли полностью блокировать проход. И вновь был очевиден конфликт интересов компании RaJ и администрации станций. Очевидно, что администрация станции, как правило, в таких конфликтах проигрывала. Но пассажиры нуждались в перекусе, и угрозы RaJ закрыть дело обычно на время приостанавливали волну критики [57].

Просматривая отчеты инспекций по культуре путешествий за 1970-е гг. и далее, мы встречаем все более частую критику стандартов гигиены и в целом услуг общественного питания в ресторанах на железнодорожных вокзалах и станциях (в том числе на центральном вокзале г. Острявы) [58]. Во время строительства нового вокзала Прага-Голешовице в 1980-х гг. развернулись широкие дебаты на тему, следует ли вообще проектировать помещение для ресторана в новом здании. Противники идеи исходили из того, что заведения такого типа уже неактуальны. В итоге в здании все же открыли заведение под названием «Компас», хотя оно в большей степени напоминало винный бар, нежели классический ресторан при железнодорожном вокзале [59].

Заключение. Развитие рельсовых пассажирских перевозок привело к появлению вокзальных и станционных заведений общественного питания. Во второй половине XIX столетия эти заведения имели блестящую репутацию, в первую очередь благодаря тому, что ими управляли лучшие представители чешской гастрономической отрасли того времени. Едва ли такое было возможно, если бы ресторанами управляла непосредственно железнодорожная администрация. Избранная модель лизинга, в которой приоритет отдавался деловым качествам управляющего, также явилась вкладом в имидж таких заведений. Достижению ресторанами столь высокого уровня способствовало также единство дизайна помещений и обстановки. В совокупности это создавало впечатление единой сети качественных предприятий общественного питания. «Золотой век» ресторанов на вокзалах и станциях пришелся на рубеж XIX и XX столетий. Импульсом к переменам стали появление вагонов-ресторанов и изменения в концепции графика движения поездов, отразившие развитие

транспорта. В период между двумя мировыми войнами выросла популярность буфетов, предлагавших быстрый и простой перекус. Период после Второй мировой войны внес коррективы в концепцию деятельности вокзальных ресторанов, инициировав их приспособление к реалиям социализма. Это, однако, не повысило качество оказания услуг, скорее наоборот – станционные рестораны приобрели характер заведений, предназначенных для рабочего класса, в них не осталось места роскоши. Недостаток финансирования, обветшание зданий, упадок в сфере гастрономии и формализованные отношения между официантом и гостем оказали на эту область крайне негативное влияние.

Пер. с англ.: редакция журнала «Вопросы истории»

Примечания

Авторы хотели бы отметить финансовую поддержку Министерства культуры Чешской Республики – проект NAKI III «Два века железных дорог в чешских землях. Культурный, социоэкономический и транспортно-технический аспекты развития чешских (чехословацких) железных дорог» (DH-23P03OVV034).

The authors would like to acknowledge the financial support of Ministry of Culture Czech Republic – project NAKI III Dvě století železnice v českých zemích. Kulturní, socio-ekonomické a dopravně technické aspekty vývoje českých (československých) železnic (DH23P03OVV034).

1. С фокусировкой на Праге, например: MUSIL S. Vůně pražských nádraží. Praha. 2005.
2. HAVRÁNEK J. Jízda koněspřežní železnicí z Českých Budějovic do Lince: Z deníku čtrnáctiletého Konstantina Jirečka. In: Práce na dějinách dopravy. Praha. 1986, s. 115.
3. N.N. Ueber Depots und Sammelplätze für Waaren und Reisende (Stazionsplätze) bei Eisenbahnen. — Allgemeine Bauzeitung. 1838. Vol. 3. No. 19, S. 163.
4. MUSIL S. Op. cit., p. 84.
5. KREJČIŘÍK M. Česká nádraží: Architektura a stavební vývoj. Vol. I. Litoměřice. 2003, s. 10.
6. Oesterreichisches Staatsarchiv (OeStA), Allgemeines Verwaltungsarchiv (AVA), f. Süd-Norddeutsche Verbindungsbahn und Österreichische Nordwestbahn (SNDVB and ÖNWB), b. 130, no. E VI/8, Löbliche Direction der Süd-Norddeutschen Verbindungsbahn 19.11.1858.
7. Ibid., Bedingniss-Heft für den Betrieb der Restaurationen.
8. Ibidem.
9. Národní archiv (NA), f. Ministerstvo železnic (MŽ) I, b. 40, no. 1535/1933, Všeobecné podmínky pro smlouvy o pronájmu nádražních hostinců (bufetů) na stanicích československých státních drah.
10. N.N. Nach der Verstaatlichung. — Zeitschrift des Verbandes der österreichischen Bahnhofs-Restauratere. 1911. Vol. 1. No. 12, S. 2.
11. N.N. Zadávání nádražních restaurací. — Moravský živnostník. 1908. Květen 30. Vol. 8. No. 22, s. 4.
12. N.N. Nach der Verstaatlichung…
13. Státní oblastní archiv v Hradci Králové (SOA Hradec Králové), Archivní oddělení Hradec Králové (AO H. Králové), f. Akciový pivovar a sladovna v Hořicích, b. 23, no. 2 II/3, 2 II/4.
14. N.N. Čeština na dráze. — Národní listy. 1898. Srpen 16. Vol. 38. No. 224, s. 3.
15. NA, f. MŽ I, b. 1372, no. 41940/1927.
16. Ibid., f. Ministerstvo dopravy (MD) I, b. 169, Nádražní restaurace na Špičáku, 17.05.1946.
17. Ibid., f. MŽ I, b. 1372, no. 54076/1926.

18. Ibid., no. 47139/1926.
19. Archiv hlavního města Prahy (AHMP), f. Magistrát hl. m. Prahy II – Spolkový katastr, b. 308, no. VIII/719.
20. NA, f. MŽ I, b. 40, no. 1535/1933, Všeobecné podmínky pro smlouvy o pronájmu nádražních hostinců (bufetů) na stanicích československých státních drah, art. 6.
21. Ibid., f. MD I, b. 189, no. 12170/1938, Všeobecné podmínky pro smlouvy o pronájmu nádraních hostinců (bufetů) na stanicích československých státních drah, nové vydání, 16.03.1938.
22. Ibid., f. MŽ I, b. 40, no. 1535/1933, Všeobecné podmínky pro smlouvy o pronájmu nádražních hostinců (bufetů) na stanicích československých státních drah, art. 6.
23. Ibidem.
24. Slovenský národný archiv (SNA), f. Ministerstvo dopravy a verajných prác (nespracované), Arizácia českých reštauračných podnikov; SABOL M. Revolúcia v priestorovej mobilite. In: Dva režimy jednej krajiny. Bratislava. 2017, s. 166–167.
25. N.N. Nádražní restauratéři domáhají se snížení nájemného. — Český Lloyd. 1933. Duben 22. Vol. 49. No. 33, s. 1.
26. NA, f. MD I, b. 184, no. E 16572/1945.
27. MUSIL S. Op. cit., s. 103.
28. NA, f. MD I, b. 184, no. D 25108/1940.
29. Ibid., no. E 16572/1945.
30. Более подробно об этих ужесточениях см.: JAKUBEC I., ŠTEMBERK J. Cestovní ruch pod dohledem třetí říše. Praha. 2018, s. 114–135.
31. N.N. Bahnhofrestauration Oderberg. — Zeitschrift des Verbandes der österreichischen Bahnhofs-Restauratere. 1912. Vol. 2. No. 11, S. 2.
32. N.N. Rückblick und Ausblick. — Ibid. 1911. Vol. 1. No. 11, S. 1.
33. N.N. Eine Neuerung für die Reisende. — Ibid. No. 10, S. 9.
34. NA, f. MŽ I, b. 40, no. 1535/1933, Všeobecné podmínky pro smlouvy o pronájmu nádražních hostinců (bufetů) na stanicích československých státních drah.
35. Ibid., art. 6.
36. Ibid., b. 452, Nádražní restaurace, obsluha cestujících u vlaků.
37. Ibid., f. MD I, b. 189, no. 12170/1938, Všeobecné podmínky pro smlouvy o pronájmu nádražních hostinců (bufetů) na stanicích československých státních drah, nové vydání, 16.03.1938.
38. GULÍK J. J-r. Železničné nehody na Slovensku 2. Corona. 2011, s. 88.
39. Zemský archiv v Opavě (ZA Opava), f. Severomoravský krajský národní výbor Ostrava (Sm KNV Ostrava), b. 33, no. 112.
40. Гавличкув-брод, Подмоклы (главный вокзал Дечин), Либерец, Яромерж, Оломоуц (главный вокзал), Здице, Бржецлав, Хомутов, Колин, Мост, Пльзень, Прага (Масариков вокзал и Главный вокзал), Карлови-Вари (главный вокзал), Брно, Хеб, Пршеров, Пардубице, Градец-Кралове, Ческе-Будеевице, Кралупи-над-Влтавоу, Сланы, Ческа-Липа, Табор и Дечин.
41. NA, f. MD I, b. 189, no. 34975/1948.
42. Ibid., b. 194, no. 2028/1949.
43. N.N. Služba cestující veřejnosti. — Svět práce. 1949. Srpen 11. Vol. 5. No. 32, s. 2.
44. N.N. Družstva zlepšují služby cestujícím. — Lidové noviny. 1950. Červen 16. Vol. 58. No. 140, s. 2.
45. NA, f. MD I, b. 189, no. 18286/1948.
46. Ibid., b. 194, no. 2028/1949.
47. Ibid.
48. Ibid.
49. Ibid., f. MŽ II, b. 15, no. 10037/53.
50. N.N. Postup odůvodněný. — Pravda. 1951. Vol. 7. No. 39, 01.06.1951, s. 5.
51. N.N. Čtvrtstoletí úspěšné práce Restaurací a jídelen. — Stráž lidu. 1978. Vol. 58. No. 92, 10.08.1978, s. 3.
52. MUSIL S. Op. cit., s. 30.
53. ŠTEMBERK J., JAKUBEC I. Hotel Alcron: K dějinám symbolu českého a československého hotelnictví. Praha. 2022, s. 81–82.
54. ZA Opava, f. Sm KNV Ostrava, b. 31, no. 98.
55. Ibid., b. 33, no. 112, Prověrka Krajské komise lidové kontroly a statistiky v Ostravě v oblasti kultury cestování - opatření, 30.06.1965.
56. Ibid., b. 31, no. 98.
57. Ibid., b. 33, no. 112.
58. Ibid., b. 136, no. 197.
59. MUSIL S. Op. cit., s. 96.

УДК 93/94
DOI: 10.1017/
S0001972024000974
Статья поступила в редакцию 10.06.2026
Статья принята в печать 03.07.2026

Реконструируя будущее: стать собственником авторских прав в Африке

М. Диавара

Аннотация. Каково состояние авторского права в Африке сегодня, когда специалисты в этой области, особенно в США, бьют тревогу? Взяв за отправную точку право, возникшее на Западе на закате XIX в., в статье мы рассмотрим пути обсуждения, установления и применения авторского права в странах Африки к югу от Сахары. В публикации ставится под сомнение актуальность используемой лексики и формулируется вопрос о том, как можно сделать Африку понятной в контексте неоднородного мира. Начиная с 1990-х гг. международные организации продвигали и навязывали экономическую концепцию материальных благ, создав новую традицию. В результате появилось наследие, общее достояние, которое превратилось в ресурс, оторванный от какого-либо исторического или социального контекста. Как выйти за рамки этих прав, которые являются источником «экономики обещаний» для авторов, чтобы продвигать непреложные и неотъемлемые права человека? Как опытные авторы могут противостоять авторскому праву, которое возвращает их в Средневековье?

Ключевые слова: Африка, США, авторское право, международное право, права человека, колониализм, глобализация.

Диавара Мамаду – Университет Гете. Франкфурт-на-Майне. Германия.
E-mail: diawara@em.uni-frankfurt.de.

Reconstructing the future: taking ownership of copyright in Africa

M. Diawara

Abstract. What is the state of copyright in Africa today, when specialists in the field, notably in the USA, are sounding the alarm? Taking as its starting point a right that emerged in the West in the twilight of the nineteenth century, this article examines the ways in which copyright is discussed, established and experienced in sub-Saharan Africa. It questions the relevance of the vocabulary used and asks how Africa can be made intelligible in the context of a heterogeneous world. Since the 1990s, international organizations have promoted and imposed the economic notion of material goods, inventing a new tradition. The result is a heritage, the commons, that is reduced to a resource divorced from any historical or social context. How can we go beyond these rights, which are a source of a "promise economy" for creators, to promote imprescriptible and inalienable human rights? How can experienced creators resist copyright that takes them back to the Middle Ages?

Key words: Africa, USA, copyright, international law, human rights, colonialism, globalization.

Diawara Mamadou – Goethe University. Frankfurt am Main. Germany.
E-mail: diawara@em.uni-frankfurt.de.

Оригинал статьи:
Africa. 2024. Vol. 94. Iss. 5, p. 637–654
URL: https://www.cambridge.org/core/journals/africa/article/reconstructing-the-future-taking-ownership-of-copyright-in-africa/D4082A2C6D36A5073669694698277F09

Джон Перри Барлоу, либертарианский интернет-юрист, внимательно наблюдавший за авторским правом более четверти века, формулирует смелый тезис: «Интеллектуальная собственность – это “тонущий корабль”, и юристы, подготавливающие интеллектуальную собственность к оцифровке, просто переставляют шезлонги» [1]. Тем временем А. Чандер и М. Сандер [2], также два выдающихся юриста, ставят под сомнение актуальность «танцев на могиле авторского права». Очевидно, что, поскольку мы находимся в Кельне, мы сохраним оригинальное название цитируемой работы Барлоу: «Продажа вина без бутылок». О чем это все? Барлоу выражает тревогу по поводу прав человека в своей собственной стране, США. Другими словами – на Западе. Можем ли мы сделать то же самое в контексте, близком к его? В данном случае – в контексте Африки конца XX в. и начала нашей эпохи. Каков статус-кво в отношении интеллектуальной собственности? Есть ли у нас какие-либо «бутылки» (формы для хранения информации) для продаваемого «вина»?

В июле 2008 г. мы прибыли в Бамако для проведения опросов в области интеллектуальной собственности в Мали, а затем, в 2013 г., в Буркина-Фасо, где мы руководили другим анкетированием [3]. Напряженный контекст был отмечен тем, что Джеймс Бойл [4] назвал «движением за второе ограждение». А. Чандер и М. Сандер [5] отмечают, что лишь немногие ученые-юристы рассматривали важность «культурных продуктов», за исключением Кейт Аоки [6] и Розмари Кумб [7]. Марк Гетти, крупнейший в мире правообладатель, называет их «нефтью XXI века» [8]. Сага о будущем, с точки зрения международных организаций и государства, набирала обороты.

В серии статей, опубликованных в 1990-х гг., Саймон Харрисон и Мэрилин Стратерн обратили внимание на важность темы интеллектуальной собственности в антропологии [9]. Джорджина Борн [10] ответила статьей, посвященной динамике интеллектуальной собственности в области компьютерного программного обеспечения. Право, которое формировалось на закате XIX в. на Западе, дает пищу для размышлений о том, как обсуждаются, устанавливаются и реализуются авторские права в Африке.

Джеймс Бойл [11], Розмари Кумб [12] и Лоуренс Лессиг [13] осудили то, что они называют «экспансионизмом авторского права», единственная цель которого – содействие приватизации культуры и информации. Они являются первопроходцами в дисциплинарной области, известной как «критические исследования прав интеллектуальной собственности» [14].

Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС, TRIPs) от 1 января 2005 г. были представлены как важный шаг вперед. Однако в 2009 г. Н.В. Нетанель отметил, что, несмотря на критику со стороны Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС, WIPO), предпочитает придерживаться своего кредо об интеллектуальной собственности как «мощном инструменте» развития [15]. Эта оригинальная парадигма решительно осуждается другими экспертами, включая Дж. де Бира, К. Армстронга, К. Огуаманама и Т. Шонветтера [16].

Миранда Форсайт подтверждает это, приводя в пример тихоокеанские острова и другие территории за их пределами: «Глобальные режимы интеллектуальной собственности пропагандируются как лучшее средство стимулирования инноваций в развивающихся странах. Также считается, что они открывают новые источники богатства, такие как развитие индустрии культуры и коммерциализация традиционных знаний, и стимулируют иностранные инвестиции» [17].

Многочисленные и важные последствия на местах заключаются, во-первых, в создании бюро по защите авторских прав и, во-вторых, в содействии явлению, известному как пиратство. Обширная библиография, посвященная этой проблеме по всему миру, включая Африку, представлена в работе Уте Решенталер и Мамаду Диавары [18]. Исследование отвечает на актуальные вопросы, которые ставит мир интеллектуальной собственности в отношении нематериальных товаров. Можно выделить три ключевые тенденции. Во-первых, есть те, включая неправительственные организации, кто требует соблюдения этих прав, чтобы лучше защитить наследие и общества, которые его создают [19]. Во-вторых, некоторые выступают за свободный доступ к этому наследию, представленному в качестве потенциального ресурса [20]. Наконец, часть аналитиков критикуют законодательство, чуждое большинству стран мира, на которые оно распространяется. Примеров можно привести множество, особенно в Африке [21], Америке [22], Азии [23] и за ее пределами [24].

Среди огромного количества новых норм, бросающих вызов границам интеллектуальной собственности, А. Чандер и М. Сандер [25] выделяют новые явления в Интернете, в частности игры или танцы. Мы хотели бы добавить к этому разнообразию объектов то, что на жаргоне ООН обозначается как «нематериальные блага Юга», в данном случае музыку, устные традиции, представления и многое другое, что ставит под сомнение интеллектуальную собственность в том виде, в каком она до сих пор понималась экспертами ВОИС и западными юристами.

Читая исследование Чандера и Сандера [26], задаешься вопросом, не ожидали ли африканские художники такого отказа. Если вы внимательно присмотритесь к некоторым артистам и бизнесменам, то увидите, что они с радостью принимают пиратство и даже согласны сами стать пиратами, отказываясь от своих прав, при условии, что их продвигают и знают. Таким образом, они могут выступать где угодно – например, за границей. Цель состоит в том, чтобы проводить выступления для семей и собирать концертные залы с потенциальными гонорарами. В конце концов, одними авторскими правами сыт не будешь.

Вейт Эрлманн [27], этномузыковед и антрополог, в своей замечательной работе справедливо формулирует следующий фундаментальный вопрос: «Как авторское право делает прежние формы общественного устройства устаревшими, создавая новые практически с нуля?» Мы хотели бы подчеркнуть, что первый элемент связан с историей, которая является плохим подспорьем для аналитиков авторского права. Действительно, специалисты по прошлому редки в этой области, и они ограничиваются изучением прошлого с точки зрения письменных произведений, являющихся первоначальным объектом авторского права. Книга Изабеллы Лёр об интеллектуальной собственности [28] является прекрасной иллюстрацией этого, но она не посвящена Африке и избегает устной речи, в данном

случае радио. Однако именно радио является средством массовой информации, используемым первопроходцами, интересующимися этой проблемой в Африке. Действительно, использование радио в качестве современного средства массовой информации побудило африканистов и, в частности, антропологов изучать его историю на континенте, не затрагивая, однако, проблему авторского права [29].

Почему специалисты по истории так стесняются того, что можно было бы назвать историей авторского права? Их молчание тем более парадоксально, что они первыми после этнологов проявили пристальный интерес к историческим источникам и даже к условиям создания устных и других текстов, которые они прославляли, критиковали и анализировали начиная с Яна Вансины [30].

Сначала мы подвергнем сомнению сам метод.

Методология. Постановка этого вопроса возвращает нас к двум проблемам: язык, на котором говорят действующие лица в области права, с которыми мы встречаемся ежедневно, обычные люди; и язык аналитиков, каковыми мы являемся. Первая ситуация приводит нас в Бамако, в Сахеле. Вторая возвращает нас в рамки закона. Обычные приветствия – и не только – включают следующие слова и выражения (рис.):

Aw ni sogoma!	Hello!
M ba, a ni sogoma.	Hello.
Ntogo ye X.	I am called X.
I bisimilla. Ko cogo di?	Welcome. How can I help you?
Ni yen nka kaseti ye. N b'a fe k'a deklare	This is my cassette. I'd like to declare it.
O kanyin. I ni jon?	Very well. Who would you like to do it with?
Nkelen	I am alone.

Рис. Язык простого народа

Так начинаются ежедневные разговоры, за которыми мы могли незаметно следить, когда будущий художник из сообщества, говорящего на языке бамана, приходил заявить о своей работе в Малийское бюро авторских прав (Bureau malien des authors, или BUMDA). Интересно отметить феномен языковых заимствований из языка бамана во французском языке с помощью двух терминов: *kaseti* и *deklare*. Кассета – это носитель музыкальных произведений, о которых хочет заявить исполнитель. *Декларирование* обязательно относится к авторским правам, которые он хочет атрибутировать в отношении продукта. Возникают два противоречивых понятия, которые не являются самоочевидными: *автор* и *его права*. К этому добавляется проблема перевода, которую художник, не знающий французского, решает без колебаний, используя оригинальные французские термины, как это делается в повседневной жизни. Антрополог, столкнувшийся с таким опытом, быстро поднимает вопросы методологии, которые соотносятся с тремя основными фигурами, а именно с Элизио Макамо [31], а также с Кэтрин Вердери и Кэролайн Хамфри [32].

Э. Макамо [33] задается вопросом: как можно сделать Африку понятной, используя термины, изобретенные в других местах, в данном случае – термин «империя»? В этой связи он приводит пример с термином «демократия» и изучает пути развития этого «концептуального социального аппарата», когда он некритично применяется к Африке. Автор отмечает, что данное понятие широко применяется с игнорированием его истории, продуктом которой оно является. Результат: процесс сокращения «черного

ящика», понятие которого Макамо позаимствовал у Брюно Латура [34]. Итогом этого является упрощенное мышление: поскольку демократия является «действительной» и «успешной» в Европе, она должна быть внедрена повсеместно, особенно в Африке. Более того, нынешние социальные и политические условия в Европе рассматриваются как продукт спланированной социальной инженерии. Со своей стороны, Макамо рекомендует рассматривать демократию как этнографическое понимание, которое необходимо проанализировать, чтобы обеспечить его интерпретацию и наилучшее использование, а не как готовый продукт, готовый к экспорту по всему миру. Эта позиция поможет нам понять термины «закон» и «авторское право».

Кэтрин Вердери и Кэролайн Хамфри [35] в своей книге о правах собственности с самого начала заявляют, что этот термин не является самоочевидным. Прежде всего, они требуют, чтобы он был проблематизирован. В отличие от других работ на эту тему, в данном исследовании концепция анализируется в свете ее использования в различных рассматриваемых обществах. Вместо того, чтобы искать наиболее подходящее определение, оба автора предпочитают выяснить, «как работает эта концепция, кто ее использует, с какой целью и с какими последствиями». Вердери и Хамфри отмечают, что термин «права собственности», столь широко распространенный во всем мире, на самом деле имеет западное происхождение. Даже если его содержание, пишут они, варьируется в зависимости от конкретного случая и дисциплины, оно содержит свои собственные скрытые теории и идеологии. Вердери и Хамфри [36] предлагают нам проанализировать результат применения концепции прав собственности во внедряемой ею новой евроамериканской конфигурации. Чтобы понять эти основополагающие аспекты, нам необходимо рассмотреть само авторское право и набор связанных с ним понятий как этнографический объект и, как того требует Макамо [37], принять во внимание историю его создания как концепции. Как пишет автор, речь идет о расшифровке обнаруженного «черного ящика».

Новый контекст понятия прав собственности, несомненно, напоминает об увлечении авторским правом на африканском континенте и за его пределами. Поэтому авторское право следует рассматривать с того момента, как оно стало реальностью в странах Африки к югу от Сахары, то есть с конца 1970-х гг. Появление авторского права в контексте, где доминирует устный нарратив, заставляет вспомнить о двух независимых, но параллельных исследованиях, опубликованных в 1996 г. Джорджиной Борн и в 2006 г. Жан-Полем Годильером и Пьером-Бенуа Жоли [38]. Дж. Борн [39] рассматривает динамику прав интеллектуальной собственности в микромире исследований программного обеспечения в США. В конкретном случае с компьютерными программами она указывает на «конфликтную динамику интеллектуальной собственности в процессе разработки». Годильер и Жоли изучают использование и регулирование биотехнологических инноваций в целях трансатлантического сравнения. Борн определяет две различные области, хотя, основываясь на работе А. Аппадурая [40], релятивизирует эту дихотомию. Как бы то ни было, следует уважать оба подхода, в частности второй, который автор называет неформальным и практическим дискурсом, относящимся к интеллектуальной собственности. Не желая возрождать старую и плодотворную дискуссию о дихотомии *формального и неформального применительно к интеллектуальной*

собственности, отметим, что понятие неформальности относится к *дискурсам*, которые циркулируют на местах. Автор ссылается как на колониальную библиотеку, которая была заинтересована в интеллектуальной собственности, так и на древние обычаи местных жителей, с которыми мы беседовали. Французские исследователи, со своей стороны, пытаются внести свой вклад в «возникновение нового режима производства знаний, характеризующегося противоречиями между "рыночным" регулированием [во Франции] и "гражданско-потребительским" регулированием [в США]». Мы хорошо знаем тесную близость двух стран по сравнению с отношениями между каждой из них и Югом, особенно Африкой. Если разница между этими двумя странами, которые так близки, вызывает такое большое научное любопытство в области производства знаний и управления ими, то что можно сказать о сфере, которая создается при создании авторского права, пришедшего с Севера в результате колонизации на основе Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ, GATT) или ВОИС и обосновавшегося на Юге? [41]

На волне новых информационных технологий Джон Фроу [42], специалист по вопросам, связанным с компьютерным программным обеспечением и авторским правом, отмечает стремление США основать экономику на «коммерциализации» информации ценой серьезных противоречий в американском законодательстве об авторском праве. Фроу [43] критикует «концептуальный статус и юридическую жизнеспособность ключевых терминов законодательства об интеллектуальной собственности – "автор", "произведение", "оригинальность", "идея", "выражение" – терминов, которые к тому же демонстрируют свою нестабильность в различных правовых системах». Более того, мы прекрасно понимаем, что эти концепции применимы к обществам и текстам, которые гораздо больше отличаются от западных, чем западные тексты друг от друга. Читая Фроу, можно подумать, что вы слушаете обозревателя африканской жизни начиная с 1980-х гг., за исключением одного отличия. Как вы реагируете на радикальную оценку американским антропологом своего собственного общества, изучая реалии Африки? Новая правовая ситуация, безусловно, противоречит аспектам авторского права и авторских прав авторов, унаследованным от колониальной эпохи. Но это еще больше противоречит доколониальному управлению интеллектуальным производством, которое анализировали многие авторы, в том числе в странах региона Мандинка (группа народностей Западной Африки. — *Прим. пер.)* и Камеруне [44].

Язык аналитиков. Для исследователей естественно задумываться о своем долге перед коллегами и соответствующими дисциплинами. Очевидно, что в областях нашей специализации теория подчинена эмпиризму. Однако два выдающихся юриста, Анупам Чандер и Мадхави Сандер, комментируют закон так, как это описано в работе Джули Э. Коэн. Встревоженные, они пишут: «Какая ирония в том, что наука о праве, наиболее непосредственно регулирующем индустрию культуры, долгое время сопротивлялась изучению культуры!» [45]

Наш долг как антрополога и историка перед учеными-юристами огромен, даже несмотря на то что два их выдающихся представителя, Чандер и Сандер [46], указывают на парадокс, заключающийся в том, что их коллеги до сих пор больше обращались к экономике, чем к «наукам о культуре», в качестве основы для своего метода. Средства, которые мы используем для обоснования своего

метода, вероятно, можно объяснить термином «закон», который обозначает понятие авторского права. Как только оно упоминается, возникает закон как дисциплина. Для Чандера и Сандера [47] источником вдохновения скорее должны быть дисциплины, ориентированные на культуру, которые мы называем социальными и гуманитарными науками. Принимая их обоснованную критику, мы, однако, замечаем, что вопрос о присвоении так называемых нематериальных благ не может быть обойден вниманием.

Давайте обратимся к философу Полю Рикеру [48] и антропологу Дени-Константу Мартину [49], чтобы убедиться в этом, прежде чем вернуться к людям и обществу, находящимся в центре дискуссии. Согласно Мартину [50], присвоение контента (распространенное явление в музыкальной сфере), относится «в целом ко всем видам копирования, заимствования или вторичной переработки, которые приводят к созданию музыкального произведения с использованием ранее существовавших элементов». Согласно Рикеру, речь идет о том, чтобы «создать что-то свое *(propre)*, чтобы подтвердить или восстановить акт существования, провозгласив желание быть» [51]. «Это указывает на то, что бытие и экзистенция, а еще лучше – понимание самого себя – зависят от “Другого”, от понимания со стороны “Другого” [52], от отношений, которые “Я” поддерживает с этим “Другим”, который в то же время находится внутри самого “Я” и в своей непохожести являет собой другое “Я”» [53].

Таким образом, вопрос о присвоении тесно связан с авторским правом, а также с действующими лицами, стоящими в центре творчества. Вот почему юристам, социологам и специалистам в области гуманитарных наук отведена основная роль, утверждают А. Чандер и М. Сандер [54]. Однако это не освобождает юристов от других критических замечаний.

Джули Э. Коэн [55] – справедливый и бескомпромиссный критик экономико-правового подхода юристов по авторскому праву. Она рекомендует им проявлять гибкость и использовать лазейки. Для достижения этой цели Коэн предлагает три стратегии: доступ к знаниям, прозрачность действий и семантическую дискретность. Применительно к третьему Коэн отмечает «незавершенность правового и технического ландшафта, которая оставляет нерегулируемое пространство для отдельных действий» [56]. Она признает неполноту, которая нуждается в дальнейшем изучении, чтобы извлекать выгоду из индивидуальной инициативы и действий. Но незавершенность, на наш взгляд, кажется существенной в том числе в первых двух стратегиях, которые Чандер и Сандер [57] считают самими собой разумеющимися. Если закон должен применяться к другим лицам в такой новой области, как интеллектуальная собственность, то у юристов и, возможно, у самого закона есть веские основания в порыве скромности признать его неполноту. Будучи продуктом Просвещения, этот закон не может слепо применяться к империи, которой больше нет. То, что Нетанэль [58] называет «неолиберальным универсальным подходом для всех», более не применяется.

Что это за универсальный подход? Как на это отреагировали действующие лица?

Берн: расширение сферы интеллектуальной собственности и возрождение традиций. Берн знаменит своей одноименной конвенцией об охране литературных и художественных произведений. В 1886 г. 10 европейских стран согласовали свод правовых

принципов охраны оригинальных произведений. Разумеется, это законодательство действовало и в колониях. В обширной библиографии данная тема обсуждалась с середины XIX в. до обретения независимости большинством африканских стран в 1960-х гг. [59] Хотя эта дискуссия увлекательна, нас здесь интересует другое. В 1967 г. была провозглашена миссия «содействовать защите интеллектуальной собственности во всем мире». Ее недвусмысленной целью было «гармонизировать законы об интеллектуальной собственности в сторону повышения», причем максималистская тенденция сохранялась и после 1974 г., когда ВОИС перешла под контроль ООН [60].

1990-е гг. и начало третьего тысячелетия ознаменовались историческим поворотом, вызвавшим определенный интерес к тесной взаимосвязи между местными знаниями и биоразнообразием, а также к необходимости защиты обществ, генерирующих знания. Широкая коалиция защитников окружающей среды и коренных народов расширила юридический дискурс о правах на местные знания и так называемый фольклор. Эта борьба увенчалась подписанием в 1992 г. Конвенции о биологическом разнообразии [61]. Совпадение этих интересов, которые до сих пор рассматривались отдельно, было подтверждено конференцией ЮНЕСКО и ВОИС, состоявшейся в 1997 г. на о. Пхукет (Таиланд). К 2022 г. 181 из 195 стран мира ратифицировала документ, предоставив авторам, музыкантам и поэтам юридические средства защиты использования их произведений [62]. Поскольку речь шла уже не просто о письменных текстах, необходимо было найти общую основу для этих знаний, заложив тем самым *традицию*.

Под эгидой ООН Бернская конвенция была распространена на страны Юга под видом авторского права. Это был настоящий IT 2.0, IT как *«изобретение традиции»* [63]. Действительно, в 1970-х и 1980-х гг. бушевали дебаты об управлении «традиционными знаниями» и их присвоении. Речь шла о выборе в пользу целостной философии и способа традиционного присвоения (владения коренными народами), которые отстаивали первые народы бывших колоний-поселений, таких как Австралия и Новая Зеландия, или общего видения ЕС и некоторых стран Ближнего Востока и Африки, которые выбрали «принцип национального суверенитета государств над своими ресурсами». Здесь мы имеем дело с возрождением традиции, на этот раз в версии IT 2.0. Они относятся к *традиционным знаниям* (ТЗ) и *традиционным формам культурного самовыражения* (ТФКС), которые подпадают под термин *Культурное наследие коренных народов* (КНКН). Музыка и авторские права, предоставленные автору, относятся к этой категории.

Понятие «коренная община», преимущественно как «дискурсивный бриколаж» [64], служит двойной цели: во-первых, оправдать существование подразделения, отвечающего за этот предмет; и, во-вторых, очистить имя Первых переселенцев. Правда, последних практически не существует, поскольку специалисты в области авторского права занимаются реальными обладателями прав. ЮНЕСКО и ВОИС предоставили национальным законодателям возможность управлять активом, который они теперь обозначают как «народное самовыражение».

Перед правительствами была поставлена задача заботиться о собственных активах – или, скорее, предоставить общинам средства для сбыта своих «традиционных знаний». Именно в этом контексте возникает идея сделать культуру вторым столпом национальной

экономики. Все, что осталось сделать, – извлечь из этого прибыль, способствуя тем самым процветанию этнопредпринимателей [65]. Полученный в результате культурный продукт побуждает местных жителей формировать себя как индивидуумов, предпринимателей в сфере культуры, готовых обслуживать клиентов в поисках экзотики [66]. Частный сектор начал мечтать о возрождении бездействовавшей неформальной экономики [67].

Разочарование не заставило себя долго ждать, учитывая универсализирующие дискурсы юристов, независимо от того, принадлежали они к социально-правовому течению или к критическому правовому течению, одержимому инструментальной логикой целей и средств [68].

«Традиционные знания [69] рассматриваются как... знания, ноу-хау, навыки и практика, которые развиваются, поддерживаются и передаются из поколения в поколение в рамках сообщества... однако общепризнанного международного определения не существует. Часто ТЗ и ТФКС объединяются в общее понятие *"Культурное наследие коренных народов"*» [70].

Если термин «традиция» настолько расплывчат, как можно его отстаивать? По мнению юриста Андреаса Рахматиана [71], так называемая юридически защищенная традиция является всего лишь «произвольной правовой конструкцией», отличной от «живой традиции». Более того, он утверждает, что защита ТФКС неразрывно связана с защитой бывших колонизированных народов. ТФКС несут в себе элементы обычного права, адаптированного для обеспечения колониального господства. Действительно, любая защита этнического меньшинства сопряжена с опасностью этнической диверсификации, что неизбежно приводит к дискриминации со стороны доминирующего меньшинства. Защитная сетка меньшинства неумолимо превращается в клетку. Но означает ли это, что мы отказываемся от защиты этих групп населения? Нет, это должна быть индивидуальная защита, закрепленная в конституции, а не «туманная коллективная защита» [72].

Но тут возникает точка зрения другого юриста: Саманты Бессон, которая прочитала замечательную лекцию под названием «Международное право науки» (The International Law of Science) во Французском колледже (Collège de France) [73]. По мнению автора, экономическое представление о материальных благах, которое набирало силу с 1990-х гг., порождает представление о наследии, о том, что является общим и выступает скорее вопросом присвоения, нежели защиты. Как только эти товары отделяются от своего исторического и культурного контекста, они превращаются в скудные ресурсы. Чтобы противостоять этой тенденции, нет ничего лучше, чем «разорвать порочный круг коммерциализации научных знаний», выйти за рамки «логики собственности». По словам Бессон, речь идет о продвижении другого права – права научных работников, которое является синонимом неотъемлемых прав человека. Указанное авторское право подтверждает право человека зарабатывать на жизнь своим творением.

Экономика обещаний. Концепцией «экономики обещаний» мы обязаны научному социологу Пьеру-Бенуа Жоли [74]. Ж. Фойе и другие исследователи [75], которые подхватили это понятие, определяют перспективную «экономику обещаний» в области генетики растений как обещание синергии между сохранением биоразнообразия и рынком, то есть между авторским правом и рынком.

Опираясь на исследования Жана Фойе, Авроры Виар-Кретат и Валери Буавер, как можно проанализировать ситуацию с интеллектуальной собственностью, основываясь, по сути, на романтическом авторстве, навязанном Западом обществам, которые ее игнорируют? [76] Среда, которая требует приватизации культуры, чтобы создать индустрию в этой области [77], отвечающую требованиям рынка, аналогична тому, что происходит в сфере биоразведки, о чем упоминали Фойе и др. [78] Генетические ресурсы, как и культурные (включая музыку), возводятся в ранг сырья, в ранг «товаров». Об этом свидетельствует лексика, используемая для этой цели: «культурная ценность», «нематериальная культурная собственность». Они легко усваиваются, что нашло отражение в красноречивом названии книги Майкла Ф. Брауна «Кому принадлежит местная культура?» [79] Более того, как и в случае с биопоиском, введение авторского права «должно позволить внедрить механизмы развития в интересах местных сообществ» [80]. Камиль Идрис, генеральный директор ВОИС, подчеркивает, что «интеллектуальная собственность является “мощным инструментом” экономического развития и создания богатства» [81].

В случае с Мали приводится целый ряд цифр, чтобы убедить правительство в огромном культурном потенциале, который существует, при условии, что он будет приватизирован в рамках закона [82]. Цифры являются важным инструментом в политике расширения авторского права. Они представляют собой «формулировку *эпистемологической пропаганды*» [83], «рекламный цифровой дискурс», призванный закрепить это обещание. ВОИС (особенно в Мали) обещает деньги своим членам и огромные суммы государству. Кроме того, годовые графики, представленные совету директоров BUMDA, подтверждают обоснованность нового кредо: «вера в цифры» [84]. Мы пришли к мечте о том, чтобы «только цифры определяли *закон*» [85].

Эти «пророки чисел» и их апостолы скрывают фундаментальную проблему, проблему *нехватки чисел*, на которую своевременно обращает внимание Мортен Джервен [86]. Примеры Мали, Южной Африки и Буркина-Фасо иллюстрируют эту ошибку.

В Мали BUMDA оценила потенциал рынка кассет в 2005 г. в 7 360 млрд франков КФА (13,99 млн долл. США; франк КФА – валюта стран Западной и Центральной Африки. — *Прим. пер.*), из которых 20 % пришлись на легальный рынок. Оставшиеся 5,888 млрд франков КФА (11,16 млн долл. США) были переданы «нелегалам» [87]. Благодаря мониторингу рынка, государство получает информацию о том, какие выгоды оно может извлечь [88].

Южная Африка не отстает от других стран. Официальный политический дискурс предполагал, что доминирующая экономика поглотит дремлющую неформальную (культурную) экономику, что, в свою очередь, возвестит о начале эры креативной индустрии, полной занятости и социального обеспечения [89]. В декабре 2011 г. министр полиции Южной Африки объявил «народную войну» пиратству, заявив, что оно «равносильно грабежам среди бела дня» [90]. В начале 2000-х гг. были проведены обыски на целых складах компакт-дисков и DVD-дисков из Сингапура и других стран. Только в 2004 г. было изъято 1,9 млн компакт-дисков. Кампания, организованная Союзом творческих работников Южной Африки и широко освещавшаяся в средствах массовой информации, предсказывала апокалипсис с 3,6 млн скачиваний в месяц и ежегодными потерями в размере 24 млн долл. США. Только

за первые два месяца 2012 г. подразделения Вооруженных сил Южной Африки, полиции Южной Африки и союза промышленных ассоциаций изъяли 21 тыс. музыкальных записей в физическом виде. Два года спустя этот пыл в значительной степени угас [91].

В. Эрлманн [92] рассказывает об опыте 2010–2018 гг. С 2010 по 2014 г. большинство мероприятий координировалось подразделением по борьбе с пиратством (RAPU) звукозаписывающей индустрии Южной Африки (RiSA). В состав RAPU входили один офицер-помощник и четыре следователя. После сокращения бюджета и изменения политики RiSA сократила количество следователей до одного. Начиная с 2012 г. мероприятия против уличных торговцев были переданы на аутсорсинг Южноафриканской федерации по борьбе с кражей авторских прав.

В. Эрлманн [93] излагает печальную историю южноафриканского общества по сбору авторских прав – Южноафриканской организации по защите прав на музыку (SAMRO), постигшую ее в августе 2018 г., спустя три года после того, как в RAPU было радикально сокращено число следователей. Главный исполнительный директор SAMRO выразил желание создать общество по использованию авторских прав в партнерстве с компанией, базирующейся в Объединенных Арабских Эмиратах (Arab Emirates Music Rights Organization), в сотрудничестве с правительством ОАЭ. Это было сделано в нарушение норм закона. Чтобы противостоять им, американские, канадские, британские и французские компании, работающие в ОАЭ, объединили усилия и добились того, что SAMRO отозвала свою заявку. 8 сентября 2018 г. Международная конфедерация обществ авторов и композиторов (СИЗАК, CISAC) – международная организация, объединяющая 228 обществ в 120 странах, отказалась признать SAMRO, которая уже наняла сотрудников и консультантов за большие деньги и арендовала роскошные офисы. Скандал обошелся SAMRO в 2,8 млн долл. США.

Глава Бюро по защите авторских прав Буркина-Фасо в аналогичном духе выразил разочарование в октябре 2015 г. во время интервью, которое он дал нам в своем офисе в Уагадугу: «Мы [сейчас] позволяем этому случиться». Он отметил, что стоимость полицейского рейда намного превышает штрафы и конфискации, налагаемые на «пиратов». Что он мог сделать с мелкими розничными торговцами, пытающимися заработать на жизнь, в то время как крупные игроки жили спокойно? Аналогичная ситуация сложилась в Мали. А. Кейта, который когда-то координировал работу региональных отделений BUMDA, с горечью отозвался о действиях таможенников, которые должны были пресекать деятельность контрабандистов: «Таможенников интересуют те контрафактные товары, на которых зарабатываются миллиарды» [94].

На самом деле обещание освободить художника-романтика, который одновременно гениален и уникален, натолкнулось на риф нестабильности, характерный для постиндустриального общества. Южная Африка и остальной континент переживают утраченную иллюзию Запада, включая США, описанную Мэттом Шталем [95].

Отказ возвращаться в Средневековье. Что мы можем сказать о роли истории и робости специалистов в дебатах, если возьмем в качестве примера «Мир Мандинка»? Регион Мандинка охватывает бывшую зону культурного влияния бывшей империи Мали. В него входят такие разные страны, как Буркина-Фасо, северные районы Кот-д'Ивуара, Гамбия, Гвинея, Гвинея-Бисау, Мавритания, Мали, Сенегал, Северная Либерия и Северное Сьерра-Леоне. Мы уже

отмечали выше, что каждый клан поэтов, известных как гриоты (придворные певцы, музыканты и поэты в странах Западной Африки. — *Прим. пер.*) и первоначально выступавших в качестве клиентов, зависел от клана покровителей или «благодетелей» [96]. Гриоты на протяжении всей жизни документировали деяния своих покровителей, в которых они видели признанных специалистов [97]. Однако гриоты развили в себе эрудицию относительно прошлого многих других кланов. Как бы то ни было, их знания, которые они передавали из поколения в поколение, принадлежали их покровителю, который взамен был обязан щедро одаривать их подарками. То же самое можно сказать и об историях и песнях, созданных в рамках молодежных объединений и церемоний, посвященных ключевым моментам в жизни, таким как присвоение имени, инициация, вступление в брак и смерть. Мы вспоминаем прекрасное описание Ибн Баттутой визита вождя малийских гриотов ко двору правителя Мансы Сулеймана (1341–1360). Ибн Баттута (1304–1369(?)) провел восемь месяцев при дворе Мансы Сулеймана (в 1352 и 1353 гг.), императора Мали. Правитель подарил ему 900 г золота! [98] На следующий день после этого императорского подарка каждый покровитель мог свободно вознаградить своего клиента, пришедшего поприветствовать его. Было бы интересно изучить, что происходит, когда постколониальное государство под руководством международных организаций решает предоставить авторские права авторам, отдельные из которых являются гриотами.

Эти поэты рассказывают, разыгрывают и поют свои тексты для реальных или воображаемых благодетелей, а взамен получают всевозможные вознаграждения, которые в наши дни могут граничить с фантастикой. Предложения миллионов наличными, золотом, виллами или даже плантациями – отнюдь не редкость [99]. Эти создатели обладают многовековым наследием, которое постоянно обновляется. Самые известные гриоты рассчитывают как на этот доход, так и на то, что может быть получено благодаря их правам. В ситуации, когда они соглашаются играть в игру за права, эти нео-художники с удовольствием совмещают два статуса. Можно вспомнить знаменитостей малийской сцены, которые низводят своего импресарио до уровня носильщика сумок, как только артист оказывается в салоне или при дворе щедрого дарителя.

Один из них с горечью вспоминает: «Меня зовут А. Я работал с Д.Д. из-за Д. Кане, директора Mali K7, компании в Бамако, которая выпускает здесь свои кассеты, и операционного директора в Seydoni-Mali! Конечно, у меня не было контракта с этой великой дивой, но это имело последствия. Я показал ее всем, даже придерживал дверцу машины. Я договорился о прямом эфире на телевидении… Они [дива, ее музыканты и другие аккомпаниаторы] выступили в Порт-Жантиле (Габон). Они побывали на нескольких вечеринках суму *(sumu)*, в том числе в доме магната Хабиба Силлы. Я попросил свой гонорар, но она и ее люди отказали мне. В тот же вечер я немедленно уехал. Планировалось продолжить путешествие в США, но, учитывая успех и высокий доход от Габона, они отказались… Ее муж оскорбил меня, и они остались в Габоне на месяц! Мораль: вы всегда должны обучать этих людей, помогать им, превращать их в настоящих профессионалов!» [100]

Таким образом, поэт сохраняет своеобразный контроль над своим покровителем-джатиги *(jaatigi* или *jatigi)*. Что касается закона,

то он отсылает художника в Управление по защите авторских прав. Это учреждение позиционирует себя как новый покровитель, которого хладнокровно анализирует неофит. Этот новый босс отсылает художника прямиком назад, в Средневековье с его недостатками. Даже не читая книгу Рут Тауз [101], экономиста и специалиста по культурным индустриям и авторскому праву, посвященную взаимосвязи между авторским правом и экономикой, художник знает, что закон – не единственный путь получить вознаграждение. Они знают, что могут быть вознаграждены «другими формами покровительства», которые позволят им обойти институты культурной индустрии [102]. Как и Тауз, художники понимают, что, получив экономические выгоды, они больше не имеют над патронами никакого контроля. Во-первых, по данным Тауз [103], доход среднестатистического художника обычно невысок. Во-вторых, художник бессилен, если издатель решает удалить его работу из каталога. Поскольку художники, как правило, попадают в этот средний диапазон, новый покровитель, скорее всего, сохранит контроль над продуктом, в то время как контроль клиента над владельцем исчезнет.

Рут Тауз поразительно точно описывает управление авторскими правами, что можно прочесть в ее строках, которые звучат как ода сахельских художников их собственной корпорации: «*Авторское право дает права, но не может гарантировать вознаграждение*... Авторское право предоставляет права авторам и исполнителям, но они имеют финансовую ценность только тогда, когда каким-либо образом передаются культурным отраслям: контроль над произведениями следует экономической логике распределения имущественных прав, обычно переходя к отрасли, а не к художнику... [104] *“Авторское право дает, и авторское право забирает”. Непреднамеренные последствия ставят под угрозу предполагаемые последствия* (Курсив наш. — *М.Д.*)» [105].

Художники, придерживающиеся системы авторского права, намерены извлечь из этого выгоду, по возможности немедленно. Они хотят добиться тех же результатов, что и их боссы прошлых лет, во времена Ибн Баттуты, или по-габонски. Как они могут смириться с неопределенностью, которую так хорошо описывает Р. Тауз [106]? Более того, как они могут смириться с горькой реальностью, которую признает та же Тауз: авторское право отнимает то, что оно дает? Это неожиданное последствие тревожит неофитов в области авторских прав. Это пугает их еще больше, потому что авторское право предписывает им утратить преимущества, которыми они когда-то пользовались. Какой смысл придерживаться системы, привязывающей вас к рынку, который теперь захватил вас и лишил ваших вековых преимуществ? Зачем доверять новому руководителю, организации, которые ассоциируются со столькими недостатками?

Во-первых, авторское право обезличено. В лучшем случае человек, называющий себя художником, сталкивается с офисом, даже если он или она пытается приручить его, придав ему лицо. Тогда возникает пустота. Это право предоставляется только один раз в год, даже если в результате этого права артист получает доступ к медицинской страховке в качестве частного лица [107]. Более того, джели *(jeli)* или любой другой художник, привыкший в качестве клиента полагаться на своих покровителей, и наоборот, всегда и при любых обстоятельствах придерживается системы, которая ставит их лицом к лицу с их новыми боссами или их

правами. И где же покровители, эти люди, семьи и деревни, которых мы знали и с которыми взаимодействовали на протяжении поколений?

И, наконец, главный прорыв. Все, что касается авторского права, похоже, сводится к финансовой операции, когда люди, обладающие правами, собирают их и распоряжаются ими так, как они считают нужным. Но что остается, когда деньги заканчиваются? Или что можно сделать, когда данное обещание не выполняется, как это ясно показывает Р. Тауз?

Зная все это, нео-художники отказываются возвращаться к Средневековью, изобретенному в конце XIX в. в Берне. По возможности они сочетают преимущества различных систем.

Заключение. Чтобы распространить авторское право на эпоху после обретения независимости, была распропагандирована «экономика обещаний», предвещавшая блестящее будущее автору-романтику в Африке и за ее пределами. Как и в случае с «романтикой развития» [108], авторские права продаются не только правительствам, но и населению. Что эти люди сделали с тем, что мы хотели сделать с ними, если перефразировать Жан-Поля Сартра? Непреклонные, они сохраняют накопленные вековые преимущества и ниспровергают реакции и решения, принятые колониальным и постколониальным государством. Они продолжают совершенствовать стратегию, которая до сих пор у них работала: накапливать и сортировать. *Путешествующие модели* их вряд ли пугают.

Наш интерес к авторскому праву как антрополога и историка Африки вскоре привел нас к тому, что мы столкнулись лицом к лицу со скудостью инструментов. Двум академическим дисциплинам, которые мы изучали, мешала сложность фактов. Мы в огромном долгу перед литературоведами, социологами и юристами, и это лишь некоторые из ученых специальностей. Последние лелеют надежду на преодоление «логики собственности» в будущем и отстаивание прав авторов, что является синонимом неотъемлемых прав человека [109]. Скудость академических инструментов подчеркивает неполноту наших дисциплин, как сказал бы Фрэнсис Ньямнджо [110], и напоминает нам о настоятельной необходимости эмпирической работы, которая, увы, идет ко дну, словно камень. Для объяснения или даже оправдания этого недостатка достаточно любой отговорки. Что касается нас, то мы поражены силой современных научных тенденций, основанных на аргументе о небезопасности на континенте.

Мы попытались взглянуть на авторское право как на этнографический объект, позаимствовав выражение Элисио Макамо, подвергнуть сомнению наш понятийный аппарат на основе эмпирических исследований. Подобно «черному ящику», концепции, стоящие за авторским правом, исследуются и помещаются в контекст. Мы работали, используя то, чему научились в пилотной Африканской академии последипломного образования в Бамако.

Настоящее исследование поставило нас лицом к лицу с парадоксом: «изобретение традиции» – это технология 2.0 для использования в постколонии XX в. – причем не в Бамако, а в Берне. Эту традицию трудно продать, даже если миллионы женщин и мужчин, получивших статус художников, будут размахивать ее знаменем.

Дополнительные материалы. Чтобы ознакомиться с дополнительными материалами к этой статье и французской версией текста,

пожалуйста, пройдите по ссылке: URL: https://doi.org/10.1017/S0001972024000974

Благодарность. Настоящая статья – результат многочисленных бесед с нашими друзьями, профессорами Джастином К. Бисансвой и Питером Марком. Мы благодарны им за помощь. Впервые материал статьи был представлен в качестве лекции IAI на Европейской конференции по африканистике, проходившей в Кельне 31 мая – 3 июня 2023 г.

Пер. с англ. П.А. Искендеров

Примечания

1. BARLOW J.P. Selling Wine without Bottles: The Economy of Mind on the Global Net. — Duke Law and Technology Review. 2019. Vol. 18, p. 8–31.
2. CHANDER A., SUNDER M. Dancing on the Grave of Copyright? — Duke Law and Technology Review. 2019. Vol. 18, p. 143.
3. KREBS D. Jugend und Arbeit. Der Verkauf von Musik durch Jugendliche in Burkina Faso Forschungsbericht. Piraterie: Das offene Geheimnis der Musikwelt in Burkina Faso. Straßenverkäufer und ihr Alltag mit den illegalen Medien. Frankfurt. 2013.
4. BOYLE J. Shamans, Software, and Spleens: Law and the Construction of the Information Society. Cambridge, MA. 1996.
5. CHANDER A., SUNDER M. Copyright's Cultural Turn. — Texas Law Review: UC Davis Legal Studies Research Paper. 2013. Vol. 341, p. 1397–1412.
6. AOKI K. (Intellectual) Property and Sovereignty: Notes towards a Cultural Geography of Authorship. — Stanford Law Review. 1996. Vol. 48. No. 5, p. 1293–1355.
7. COOMBE R. The Cultural Life of Intellectual Properties: Authorship, Appropriation, and the Law. Durham, NC. 1998.
8. FREDRIKSSON M. A Critical Guide to Intellectual Property. — International Journal of Cultural Policy. 2018. Vol. 24. No. 4, p. 559–561.
9. BORN G. (Im)materiality and Sociality: The Dynamics of Intellectual Property in a Computer Software Research Culture. — Social Anthropology. 1996. Vol. 4. No. 2, p. 101.
10. Ibidem.
11. BOYLE J. A Politics of Intellectual Property: Environmentalism for the Net? — Duke Law Journal. 1997. Vol. 47, p. 87–116.
12. COOMBE R. Op. cit.
13. LESSIG L. Code and Other Laws of Cyberspace. NY. 1999; IBID. The Future of Ideas: The Fate of the Commons in a Connected World. NY. 2001.
14. FREDRIKSSON M. Op. cit.
15. NETANEL N.W. The Development Agenda: Global Intellectual Property and Developing Countries. Oxford—NY. 2009, p. 2–3.
16. Innovation and Intellectual Property: Collaborative Dynamics in Africa / Eds.: J. de Beer, C. Armstrong, C. Oguamanam, T. Schonwetter. Cape Town. 2014, p. 7.
17. FORSYTH M. Making the Case for a Pluralistic Approach to Intellectual Property Regulation in Developing Countries. — Queen Mary Journal of Intellectual Property. 2016. Vol. 6. No. 1, p. 4, 8.
18. RÖSCHENTHALER U., DIAWARA M. Copyright Africa: How Intellectual Property, Media and Markets Ransform Immaterial Cultural Goods. Canon Pyon. 2016, p. 1–34.
19. См., например: Valuing Local Knowledge: Indigenous People and Intellectual Property Rights / Eds.: S. Brush, D. Stabisky. Washington, DC. 1996; DUTFIELD G. The Public and Private Domains: Intellectual Property Rights in Traditional Ecological Knowledge. — Science Communication. 2000. Vol. 21. No. 3, p. 274–295; GLOBERMAN S. Addressing International Product Piracy. — Journal of International Business Studies. 1988. Vol. 19. No. 3, p. 497–504; HEWITT B. Heritage as a Commodity: Are We Devaluing Our Heritage by Making It Available to the Highest Bidder via the Internet? In: Cultural Heritages as Reflexive Traditions / Eds.: U. Kockel, M. Nic

Craith. London. 2007; MILLS S. Indigenous Music and the Law: An Analysis of National and International Legislation. — Yearbook for Traditional Music. 1996. Vol. 28, p. 57–86; OUMA M.N. Optimal Enforcement of Music Copyright in Sub-Saharan Africa: Reality or a Myth? — Journal of World Intellectual Property. 2006. Vol. 9, p. 592–627; STRATHERN M., DA CUNHA M.C., DESCOLA P., AFONSO C.A., HARVEY P. Exploitable Knowledge Belongs to the Creators of It: A Debate. — Social Anthropology. 1998. Vol. 6. No. 1, p. 109–126; STRATHERN M. Intellectual Property and Rights: An Anthropological Perspective. In: Handbook of Material Culture / Eds.: C. Tilley, W. Keane, S. Küchler, M. Rowlands, P. Spyer. London. 2006.

20. См., например: Jazz Has Got Copyright Law and That Ain't Good. — Harvard Law Review. 2005. Vol. 118. No. 6, p. 1940–1961; BENTHALL J. The Critique of Intellectual Property. — Anthropology Today. 1999. Vol. 15. No. 6, p. 1–3; GUILLEBAUD C., STOICHITA V., MALLET J. La musique n'a pas d'auteur: ethnographies du copyright. — Gradhiva. 2010. Vol. 12, p. 5–19; MCLEOD K. Freedom of Expression: Overzealous Copyright Bozos and Other Enemies of Creativity. NY. 2005; ROWLANDS M. Cultural Rights and Wrongs: Uses of the Concept of Property. In: Property in Question: Value Transformation in the Global Economy / Eds.: C. Humphrey, K. Verdery. Oxford. 2004; VAIDHYANATHAN S. Copyrights and Copywrongs: The Rise of Intellectual Property and How It Threatens Creativity. NY. 2001.

21. DIAWARA M. Immaterielles Kulturgut und konkurrierende Normen: Lokale Strategien des Umgangs mit globalen Regelungen zum Kulturgüterschutz. — Sociologus. 2011. Vol. 61. No. 1, p. 1–17; IBID. Die Jagd nach den Piraten: Zur Herausbildung von Urheberrechten im Kontext der Oralität im subsaharischen Afrika. — Ibid., p. 69-89. Breaking the Contract? Handling Intangible Cultural Goods among Different Generations in Mali. In: Copyright Africa: How Intellectual Property, Media and Markets Transform Immaterial Cultural Goods / Eds.: U. Röschenthaler, M. Diawara. Canon Pyon. 2016; BOATENG B. African Textiles and the Politics of Diasporic Identity-Making. In: Fashioning Africa: Power and the Politics of Dress / Ed. J. Allman. Bloomington, IN. 2004; IBID. The Copyright Thing Doesn't Work Here: Adinkra and Kente Cloth and Intellectual Property in Ghana. Minneapolis, MN. 2011; GEVER S. Towards a Clearer Definition and Understanding of "Indigenous Community" for the Purposes of the Intellectual Property Laws Amendment Bill, 2010: An Exploration of the Concepts "Indigenous" and "Traditional". — Potchefstroomse Elektroniese Regstydskrif / Potchefstroom Electronic Law Journal. 2010. Vol. 13. No. 4, p. 127–143.

22. SEEGER A. Ethnomusicology and Music Law. — Ethnomusicology. 1992. Vol. 36. No. 3, p. 345–359.

23. LEHMANN J. Intellectual Property Rights and Chinese Tradition Section: Philosophical Foundations. — Journal of Business Ethics. 2006. Vol. 69. No. 1, p. 1–9; YUNG B. Reflecting on the Common Discourse on Piracy and Intellectual Property Rights: A Divergent Perspective. — Ibid. 2009. Vol. 87, p. 45–57.

24. STRATHERN M. Op. cit.; SUNDARAM R. Pirate Modernity: Delhi's Media Urbanism. London. 2010.

25. CHANDER A., SUNDER M. Dancing on the Grave of Copyright…, p. 144.

26. Ibid.

27. ERLMANN V. Lion's Share: Remaking South African Copyright. Durham, NC—London. 2022, p. 18.

28. LÖHR I. Die Globalisierung geistiger Eigentumsrechte: Neue Strukturen internationaler Zusammenarbeit 1886–1952. Göttingen. 2010.

29. LEYRIS T. La Société de Radiodiffusion de la France d'outre-mer et les indépendances des États africains (1959–1960). Une institution impériale dans la décolonisation: Master's Thesis. University of Lille. 2018; LOSCH F. Preserving Public Broadcasting Archives in the Digital Era: Circulatory Stories and Technologies, the Digital Turn, and the Return of the Past in West Africa. — History in Africa. 2020. Vol. 47, p. 219–241; WHITE A. Building an Imperial Broadcasting Network as the Empire Disintegrated: The Birth of Radio in the French Sub-Saharan African Colonies during Decolonization. — Journal of Radio and Audio Media. 2022. Vol. 29. No. 1, p. 120–135.

30. VANSINA J. De la tradition orale, essai de méthode historique. Tervuren. 1961.

31. MACAMO E. Translating Black Boxes: The Social Sciences and Africa. In: Translation Revisited: Contesting the Sense of African Social Realities / Eds.: J.-B. Ouédraogo, E. Macamo. Cambridge. 2018.

32. VERDERY K., HUMPHREY C. Property in Question: Value Transformation in the Global Economy. NY. 2004.

33. MACAMO E. Op. cit., p. 343.
34. LATOUR B. Pandora's Hope: Essays on the Reality of Science Studies. Cambridge, MA—London. 1999.
35. VERDERY K., HUMPHREY C. Op. cit., p. 2.
36. Ibid., p. 2–3.
37. MACAMO E. Op. cit.
38. GAUDILLIÈRE J.-P., JOLY P.-B. (2006) Appropriation et régulation des innovations biotechnologiques: pour une comparaison transatlantique. — Sociologie du Travail. 2006. Vol. 48. No. 3, p. 330–349.
39. BORN G. (Im)materiality and Sociality: The Dynamics of Intellectual Property in a Computer Software Research Culture. — Social Anthropology. 1996. Vol. 4. No. 2, p. 101–116.
40. APPADURAI A. Introduction: Commodities and the Politics of Value. In: The Social Life of Things: Commodities in a Cultural Perspective / Ed. A. Appadurai. Cambridge. 1986, p. 13.
41. Давайте не будем забывать о просторах и разнообразии Юга.
42. FROW J. Repetition and Limitation: Computer Software and Copyright Law. — Screen. 1988. Vol. 29, p. 4–21.
43. Ibid., p. 4–11.
44. DIAWARA M. La graine de la parole. Stuttgart. 1990; IBID. L'empire du verbe – l'éloquence du silence. Vers une anthropologie du discours dans les groupes dits dominés au Sahel. Cologne. 2003; RÖSCHENTHALER U. Purchasing Culture: The Dissemination of Associations in the Cross River Region of Cameroon and Nigeria. Trenton, NJ. 2011.
45. CHANDER A., SUNDER M. Copyright's Cultural Turn…, p. 1397.
46. Ibid.
47. Ibidem.
48. RICOEUR P. Existence et herméneutique. In: IBID. Le conflit des interprétations: essais d'herméneutique. Paris. 1969; IBID. Herméneutique des symboles et réflexion philosophique (II). — Ibid.
49. MARTIN D.-C. Attention, une musique peut en cacher une autre. L'appropriation, A et Ω de la création. — La Revue des Musiques Populaires. 2014. Vol. 10. No. 2, p. 47–67.
50. Ibid., p. 47.
51. RICOEUR P. Herméneutique des symboles et réflexion philosophique (II)…, p. 323–325.
52. IBID. Existence et herméneutique…, p. 20–21.
53. MARTIN D.-C. Op. cit., p. 54.
54. CHANDER A., SUNDER M. Dancing on the Grave of Copyright?…
55. COHEN J.E. Configuring the Networked Self: Law, Code, and the Play of Everyday Practice. New Haven, CT. 2012.
56. Ibid., p. 31; CHANDER A., SUNDER M. Copyright's Cultural Turn…, p. 1399.
57. CHANDER A., SUNDER M. Dancing on the Grave of Copyright?…
58. NETANEL N.W. Op. cit.
59. MASOUYÉ C. Decolonisation, Independence and Copyright. — Revue Internationale du Droit d'Auteur. 1962. Vol. 36, p. 85–145; OKEDIJI R.L. The International Relations of Intellectual Property: Narratives of Developing Country Participation in the Global Intellectual Property System. — Singapore Journal of International and Comparative Law. 2003. Vol. 7, p. 315–385; IBID. Africa and the Global Intellectual Property System: Beyond the Agency Model. — African Yearbook of International Law. 2004. Vol. 12, p. 207–251; PEUKERT A. The Colonial Legacy of the International Copyright System. In: Staging the Immaterial: Rights, Style and Performance in Sub-Saharan Africa / Eds.: M. Diawara, U. Röschenthaler. Oxford. 2012; IBID. Intellectual Property: The Global Spread of a Legal Concept. In: DRAHOS P., GHIDINI G., ULLRICH H. Kritika: Essays on Intellectual Property. Vol. 1. Cheltenham. 2015; RAHMATIAN A. Neo-Colonial Aspects of Global Intellectual Property Protection. — Journal of World Intellectual Property. 2009. Vol. 12, p. 40–74; SHERKIN S. A Historical Study on the Preparation of the 1989 Recommendation on the Safeguarding of Traditional Culture and Folklore. In: Safeguarding Traditional Cultures: A Global Assessment / Ed. P. Seitel. Washington, DC. 2001.
60. NETANEL N.W. Op. cit.
61. ERLMANN V. Op. cit., p. 124.
62. См.: URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Berne_Convention
63. Африканисты обычно изобретают традиции. — The Invention of Tradition / Eds.: E.J. Hobsbawm, T.O. Ranger. Cambridge. 1983; Legitimacy and the State in Twentieth-Century Africa: Essays in Honour of A.H.M. Kirk-Greene / Eds.: T. Ranger, O. Vaughan. London. 1993. Теренс Рейнджер посвятил этой теме

две статьи. Вторая пересматривает предыдущую, учитывая критические замечания, которые мы с радостью принимаем. Если бы мы пронумеровали эти два канонических произведения, то сохранили бы последнее за изобретение традиции, случившееся в Берне.
64. ERLMANN V. Op. cit., p. 114, 124.
65. COMAROFF J.L., COMAROFF J. Ethnicity, Inc. Chicago, IL. 2009.
66. ERLMANN V. Op. cit., p. 133; COOMBE R. The Properties of Culture and the Possession of Identity: Post-Colonial Struggle and the Legal Imagination. In: Borrowed Power: Essays on Cultural Appropriation / Eds.: B. Ziff, P.V. Rao. New Brunswick, NJ. 1997, p. 85; BOATENG B. The Copyright Thing Doesn't Work Here: Adinkra and Kente Cloth and Intellectual Property in Ghana. Minneapolis, MN, p. 180.
67. ERLMANN V. Op. cit.
68. Ibid., p. 21, 23.
69. Концепция «традиционных знаний» (ex situ) делает еще один шаг в сторону от области изучения и науки, которая ее создала: антропологии. Что нам делать с таким расплывчатым понятием? Разве это не просто идеограмма в понимании Х. Ван Ленте и др.? – VAN LENTE H., HESSELS L.K., SCHUURBIERS D. Cycles of Promises: Comparing Nanoscience, Agricultural Sciences, and Chemistry: Paper presented at the conference "Risky Entanglements? Contemporary research cultures imagined and practiced". University of Vienna, 10–11 June 2010. URL: https://scholar.google.com/scholar?q=Van+Lente,+H.,+Hessels,+L.+K.+and+Schuurbiers,+D.+(2010)+%E2%80%98Cycles+of+promises:+comparing+nanoscience,+agricultural+sciences,+and+chemistry%E2%80%99.+Paper+presented+at+the+conference+%E2%80%98Risky+entanglements?:+Contemporary+research+cultures+imagined+and+practised%E2%80%99,+-University+of+Vienna,+10%E2%80%9311+June; JOLY P.B. On the Economics of Technoscientific Promises. In: Débordements: Mélanges offerts à Michel Callon / Eds.: M. Akrich, Y. Barthe, F. Muniesa, P. Mustar. Paris. 2010, p. 6. Ван Ленте объясняет, что лингвист М. Макги ввел термин «идеограмма» для обозначения указанных понятий: «Идеограмма – это обычный языковой термин… абстракция высшего порядка, представляющая коллективную приверженность определенной, но двусмысленной и нечетко определенной нормативной цели. Это оправдывает использование власти, оправдывает поведение и убеждения <…> и направляет поведение и убеждения в русло, которое легко признается сообществом как приемлемое и похвальное». – MCGEE M.C. The "ideograph": A Link between Rhetoric and Ideology. – Quarterly Journal of Speech. 1980. Vol. 66. No. 1, p. 1–16.
70. RAHMATIAN A. Geistiges Eigentum und "traditionelle" Kunst. In: Tagungsband des Dreizehnten Heidelberger Kunstrechtstags / Eds.: M. Weller, et al. Baden-Baden. 2021, p. 125.
71. Ibid., p. 136–137.
72. Ibid., p. 145.
73. BESSON S. Le droit international de la science. 2024. URL: https://www.youtube.com/watch?v=f4VNhXLxGIY
74. JOLY P.B. Op. cit.
75. FOYER J., VIARD-CRÉTAT A., BOISVERT V. Néolibéraliser sans marchandiser: La bioprospection et les mécanismes REDD dans l'économie de la promesse. In: Les politiques de biodiversité / Ed. D. Compagnon. Paris. 2017.
76. DIAWARA M. Breaking the Contract? Handling Intangible Cultural Goods among Different Generations in Mali. In: Copyright Africa…
77. SKINNER R. Bamako Sounds: The Afropolitan Ethics of Malian Music. Minneapolis, MN. 2015, p. 131.
78. FOYER J., VIARD-CRÉTAT A., BOISVERT V. Op. cit.
79. BROWN M.F. Who Owns Native Culture? Cambridge, MA. 2004.
80. FOYER J., VIARD-CRÉTAT A., BOISVERT V. Op. cit., p. 5.
81. IDRIS K. Intellectual Property: A Power Tool for Economic Growth. Overview. Geneva: World Intellectual Property Organization. 2003. URL: https://tind.wipo.int/record/48009/files/wipo-pub-888-1-en-overview-intellectual-property-a-power-tool-for-economic-growth.pdf?ln=en
82. DIAWARA M. Justice in Whose Name: The Domestication of Copyright in Subsaharan Africa. In: Justice and Peace: Interdisciplinary Perspectives on a Contested Relationship / Ed. G. Hermann. Frankfurt. 2013.
83. HAYDEN C. When Nature Goes Public. Princeton, NJ. 2003, p. 32.
84. SUPIOT A. La Gouvernance par les nombres: Cours au Collège de France (2012–2014). Paris. 2015, p. 141, 152.
85. Ibid., p. 119.
86. JERVEN M. Poor Numbers: How We Are Misled by African Development Statistics and What to Do about It. Ithaca, NY. 2013.

87. Подделка записей всех видов музыки остается в порядке вещей. Учитывая сложность и разнообразие электронных средств воспроизведения, «пираты прошлых лет», как и государство, ушли со сцены. Статистику по Мали см.: DIAWARA M. Die Piraten versuchen, ihren Kopf zu retten: Chronik einer Transplantation, die nicht greift. In: Normative Ordnungen / Eds.: F. Rainer, K. Günther. Berlin. 2021.
88. Le Républicain (Mali). 14.07.2005. URL: http://donnees.banquemondiale.org/pays/mali. Конверсию валют и обменные курсы см.: URL: https://exchangerates.org/usd/xof/in-2005
89. ERLMANN V. Op. cit., p. 31.
90. Ibid., p. 175.
91. Ibid., p. 178–179.
92. Ibid., p. 22, 195.
93. Ibid., p. 283, 286–290.
94. Устное свидетельство, полевые исследования автора. Бамако, 2009 г.
95. STAHL M. Unfree Masters: Recording Artists and the Politics of Work. Durham, NC. 2013, p. 11–15; ERLMANN V. Op. cit., p. 31.
96. DIAWARA M. La graine de la parole…
97. CAMARA S. Gens de la Parole. Paris. 1975; Status and Identity in West Africa / Eds.: D.C. Conrad, B.E. Frank. Bloomington, IN. 1995; DIAWARA M. La graine de la parole…; IBID. Le griot mande à l'heure de la globalisation. — Cahiers d'Études Africaines. 1996. Vol. 144. No. 36-4, p. 591–612; IBID. L'empire du verbe – l'éloquence du silence…; HOFFMAN B.G. Griots at War: Conflict, Conciliation, and Caste in Mande. Bloomington, IN. 2000; JANSEN J. The Griot's Craft: An Essay on Oral Tradition and Diplomacy. Hamburg. 2000; IBID. Masking Sunjata: A Hermeneutical Critique. — History in Africa. 2000. Vol. 27, p. 131–141; SCHULZ D.E. Perpetuating the Politics of Praise. Cologne. 2001.
98. BAṬṬŪṬA I. Voyages III: Inde, Extrême-Orient, Espagne et Soudan. Paris. 1982.
99. DIAWARA M. Le griot mande à l'heure de la globalisation…
100. Интервью с А. Кейта, полевые исследования автора. Бамако, 2008 и 2009 гг.
101. TOWSE R. Managing Copyrights in the Cultural Industries. 2005. URL: http://neumann.hec.ca/aimac2005/PDF_Text/Towse_Ruth.pdf
102. Ibid., p. 3.
103. IBID. Partly for the Money: Rewards and Incentives to Artists. — Kyklos. 2001. Vol. 54, p. 473–490.
104. CAVES R. Creative Industries. Cambridge, MA. 2000.
105. TOWSE R. Managing Copyrights in the Cultural Industries…, p. 5.
106. Ibid.
107. На самом деле, избранных представителей очень мало – см., например, случай Сенегала, который часто приводится в качестве хорошего примера, где юрист Юссу Сумаре объясняет бедственное положение художников. — SOUMARÉ Y. Dimension juridique de l'industrie musicale au Sénégal. In: Industrie musicale au Sénégal: Essai d'analyse / Ed. S. Ndour. Dakar. 2008.
108. DIAWARA M. La bibliothèque coloniale, la propriété intellectuelle et la romance du développement en Afrique. — Canadian Journal of African Studies. 2014–2015. Vol. 48. No. 3, p. 445–461; CHANDER A., SUNDER M. The Romance of the Public Domain. — California Law Review. 2004. Vol. 92. No. 5, p. 1331–1373.
109. BESSON S. Op. cit.
110. NYAMNJOH F.B. Incompleteness Mobility and Conviviality. Bamenda. 2024.

УДК 93/94
DOI: 10.31166/
VoprosyIstorii202608Statyi05
Статья поступила в редакцию 11.06.2026
Статья принята в печать 30.06.2026

Становление индивидуального творческого стиля в китайской вокальной музыке XX в.

Чжао Сяолинь

Аннотация. В статье рассматривается становление индивидуального творческого стиля в китайской вокальной музыке XX в. как результат сложного взаимодействия национальной музыкально-речевой традиции, западной академической вокальной системы, институционального развития музыкального образования и историко-культурных трансформаций китайского общества. Особое внимание уделяется конкретным композиторским, исполнительским и педагогическим примерам – песенному творчеству Чжао Юаньжэня и Хуан Цзы, вокально-хоровой модели Сиань Синхая, новой китайской опере «Седая девушка», исполнительской традиции Го Ланьин, вокально-педагогической системе Чжоу Сяоянь, а также поздним формам национально-академического вокального стиля. Показано, что индивидуальный стиль в китайской вокальной музыке формировался не как простая сумма заимствований и традиционных элементов, а как самостоятельная художественная система, в которой китайская речевая интонация, поэтическая образность, народно-оперная выразительность и европейская техника звукообразования были включены в единый процесс культурного синтеза. Делается вывод о том, что развитие индивидуального вокального стиля в Китае связано не только с техникой исполнения, но и с проблемой культурной идентичности, исторической памяти и художественного самоопределения исполнителя.

Ключевые слова: Китай, вокальная музыка, вокальное образование, бельканто, китайский язык, тональные языки, культурная идентичность, китайская опера.

Чжао Сяолинь – доцент, Институт музыки Чжэнчжоуского университета. Чжэнчжоу, провинция Хэнань. Китай.
ORCID ID: https://orcid.org/0009-0009-1500-696X.
E-mail: zhaoxiaolin@zzu.edu.cn.

Formation of individual creative style in Chinese vocal music of the 20th century

Zhao Xiaolin

Abstract. The article examines the formation of individual creative style in Chinese vocal music of the twentieth century as a result of complex interaction between national musical and speech traditions, Western academic vocal techniques, institutional development of music education, and historical-cultural transformations of Chinese society. Special attention is paid to specific compositional, performing, and pedagogical cases: the song works of Zhao Yuanren and Huang Zi, the vocal-choral model of Xian Xinghai, the new Chinese opera "The White-Haired Girl", the performing tradition of Guo Lanying, the vocal-pedagogical system of Zhou Xiaoyan, and later forms of national-academic vocal style. The article shows that individual style in Chinese vocal music was formed not as a simple combination of borrowed and traditional elements, but as an independent artistic system in which Chinese speech intonation, poetic imagery, folk-operatic expressiveness, and European vocal technique were included in a unified process of cultural synthesis. It is concluded that the development of individual vocal style in China is connected not only with performing technique, but also with the problem of cultural identity, historical memory, and artistic self-determination of the performer.

Key words: China, vocal music, vocal education, bel canto, Chinese language, tonal languages, cultural identity, Chinese opera.

Zhao Xiaolin – associate professor, Zhengzhou University School of Music. Zhengzhou, Henan Province. China.
ORCID ID: https://orcid.org/0009-0009-1500-696X.
E-mail: zhaoxiaolin@zzu.edu.cn.

Китайская вокальная музыка в XX в. развивалась в условиях интенсивной исторической перестройки, затронувшей политическую систему, образовательные институты, эстетические представления и формы культурной коммуникации. Вокальное искусство оказалось одной из тех сфер, где особенно заметно проявилось напряжение между сохранением национальной традиции и необходимостью освоения новых художественных языков. Это напряжение не разрушило китайскую вокальную культуру, а, напротив, стало одним из главных механизмов ее обновления. Индивидуальный творческий стиль в данном контексте формировался не как произвольная, личная манера исполнителя или композитора, а как результат выбора между несколькими системами выразительности: традиционной китайской интонационностью, народно-оперной манерой, европейской академической техникой, советской моделью профессионального музыкального образования и новыми формами массовой музыкальной культуры.

В дореволюционной китайской культуре вокальное начало было тесно переплетено с поэтическим словом, театральной традицией, ритуально-бытовыми формами пения и региональными исполнительскими школами. Китайская музыкальная система исторически опиралась на особое понимание связи звука, слова и жеста, а вокальное интонирование не отделялось от фонетики языка, поэтической структуры и эмоционального состояния исполнителя [1]. В этом смысле китайская вокальная традиция изначально обладала мощной индивидуализирующей основой: исполнитель не просто воспроизводил мелодию, а раскрывал смысл текста через тембр, произношение, дыхание, пластику и интонационную нюансировку.

Однако именно XX в. радикально изменил условия существования этой традиции. После Синьхайской революции и особенно в период «Движения 4 мая» китайская культура вступила в фазу активной модернизации. Музыкальное образование стало восприниматься как часть общего проекта национального обновления, а в китайскую художественную практику постепенно входили западные формы обучения, нотной фиксации, гармонического мышления и вокальной техники [2]. В дальнейшем, после возникновения Китайской Народной Республики, музыкальное образование приобрело более устойчивую институциональную основу. Создание и развитие профессиональных консерваторий, распространение систематического преподавания академического вокала, влияние советской педагогической модели и подготовка кадров нового типа существенно изменили представление о профессии певца [3].

Проблема индивидуального творческого стиля в китайской вокальной музыке XX в. не может быть сведена только к вопросу о технике пения. Она включает следующие уровни: композиторский, исполнительский, педагогический и культурно-идентификационный. Композиторский уровень связан с созданием новых вокальных жанров, прежде всего китайской художественной песни, вокально-хоровых произведений и новой китайской оперы. Исполнительский уровень проявляется в поиске особого тембра, дикции, манеры звукоизвлечения и сценического образа. Педагогический уровень связан с формированием китайской

вокальной школы, способной адаптировать европейское бельканто к китайскому языку и национальной эстетике. Культурно-идентификационный уровень раскрывает индивидуальный стиль как способ ответа на вопрос о том, каким может быть китайский голос в условиях модернизации и глобального художественного обмена [4].

Задача авторов заключается в выявлении основных моделей становления индивидуального творческого стиля в китайской вокальной музыке XX в. на материале конкретных композиторских, исполнительских и педагогических примеров. Рассматриваются творчество Чжао Юаньжэня и Хуан Цзы, вокально-хоровая концепция Сиань Синхая, опера «Седая девушка», созданная коллективом Академии искусств имени Лу Синя, исполнительская манера Го Ланьин, педагогическая система Чжоу Сяоянь, а также поздние формы национально-академического вокального стиля, сформировавшиеся на рубеже XX–XXI вв.

Историко-культурные предпосылки формирования индивидуального вокального стиля. Развитие китайской вокальной музыки в XX в. происходило в условиях культурного разрыва и одновременно культурной преемственности. С одной стороны, модернизация требовала освоения новых форм профессионального образования, концертной практики, композиторской техники и исполнительского мастерства. С другой – китайская вокальная культура не могла отказаться от национальной интонационной основы, поскольку именно посредством ее сохранялась связь музыки с языком, поэзией, театральной традицией и коллективной исторической памятью.

На раннем этапе модернизации китайского музыкального образования особую роль сыграли учебные учреждения, в которых музыка постепенно стала рассматриваться не только как элемент традиционной культуры, но и как самостоятельная профессиональная дисциплина. Развитие общего и профессионального музыкального образования в Китае в XX–XXI вв. показывает, что китайская система подготовки музыкантов формировалась под влиянием нескольких образовательных моделей: национальной, европейской, японской и советской [5]. Для вокальной музыки это имело принципиальное значение, поскольку певец нового типа должен был владеть не только традиционной манерой интонирования, но и нотной грамотой, техникой дыхания, навыками сценического исполнения, ансамблевой работы и интерпретации произведений разных стилей.

Западная вокальная система вошла в Китай не как единый и разом усвоенный комплекс, а как совокупность техник и эстетических принципов, постепенно адаптировавшихся к местной культурной среде. Итальянское бельканто, немецкая традиция художественной песни, русская и советская оперная школа оказали влияние на развитие дыхательной техники, резонаторного мышления, кантилены, звуковой опоры, расширения диапазона и артикуляционной дисциплины [6]. Однако механическое перенесение западной техники на китайский язык было невозможно. Китайская фонетика, тоновая природа языка, особая роль согласных и гласных, связь музыкальной фразы с поэтическим смыслом требовали самостоятельной педагогической и исполнительской переработки.

Именно здесь возникает центральная проблема китайского вокального стиля XX в.: как соединить европейскую вокальную технологию с китайской речевой и интонационной природой? Если западное академическое пение во многом ориентировано на протяженную вокальную линию, выравнивание регистров и тембровую полноту, то китайская традиция сохраняет повышенное внимание к слову, смысловой ясности, речевой пластике и интонационной выразительности. Поэтому индивидуальный стиль китайского вокалиста формировался не только в области тембра и техники, но и в зоне взаимодействия между голосом и языком.

Значимым фактором стало и изменение социальной функции вокальной музыки. В первой половине XX в. вокальное искусство активно включалось в процессы национального пробуждения, антивоенной мобилизации, культурного просвещения и формирования нового общественного сознания. Во второй половине века, особенно после периода реформ и открытости, исполнители получили более широкие возможности в плане жанрового разнообразия, международного обмена и индивидуального самовыражения [7]. В результате китайский вокальный стиль стал развиваться сразу в нескольких направлениях: камерно-лирическом, массово-патриотическом, оперно-драматическом, народно-академическом и педагогико-институциональном.

Китайская художественная песня: творчество Чжао Юаньжэня и Хуан Цзы как композиторские модели индивидуального стиля. Одной из важнейших форм становления индивидуального творческого стиля стала китайская художественная песня. Этот жанр позволил китайским композиторам соединить национальную поэтическую традицию с европейскими принципами камерной вокальной музыки. В отличие от народной, художественная песня предполагала авторскую композиционную структуру, фортепианное сопровождение, более сложную гармоническую организацию и индивидуализированную интерпретацию текста. Она не могла полностью опираться на европейскую мелодико-гармоническую модель, как западный романс, так как китайский язык и китайская поэтика требовали иной логики вокального интонирования.

Показательным ранним произведением является созданная в 1926 г. песня Чжао Юаньжэня (1892–1982) «Как мне не думать о ней?» (教我如何不想他) на стихотворение Лю Баньнуна, написанное в 1920 г. Ее значение связано не только с художественными качествами, но и с тем, что она демонстрирует новый тип музыкальной работы с современным китайским поэтическим текстом. В этом произведении вокальная линия не стремится к внешней виртуозности; ее выразительность рождается из тонкого взаимодействия речевой интонации, лирического чувства и камерной сдержанности. Индивидуальность стиля Чжао Юаньжэня проявляется в том, что композитор не подчиняет китайский текст западной мелодической схеме, а ищет такую музыкальную форму, в которой сама речевая природа китайского языка становится источником мелодического движения.

Этот принцип оказался чрезвычайно важным для дальнейшего развития китайской художественной песни. Он обозначил возможность модернизации без утраты языковой и интонационной идентичности. Китайская вокальная музыка начала двигаться от фольклорной или театральной формы к авторской камерной

модели, но при этом сохранила связь с национальным способом переживания слова. В таком контексте индивидуальный стиль композитора определяется не степенью отрыва от традиции, а способностью превратить традиционную интонационную основу в материал современного художественного высказывания.

Более развернутую и профессионально сформированную модель китайской художественной песни создал композитор и музыкальный педагог Хуан Цзы (1904–1938). Его творчество занимает особое место в становлении китайской вокальной музыки XX в., поскольку именно у него синтез китайской мелодической природы и западной композиционной техники приобретает устойчивую художественную форму. В песнях «Три желания розы» (玫瑰三愿, 1932) и «Тоска по родине» (思乡, 1932) проявляется тип лирического вокального письма, в котором западная гармония, развитая фортепианная фактура и камерная форма не подавляют, а углубляют китайскую поэтическую образность [8].

В «Трех желаниях розы» индивидуальность стиля Хуан Цзы раскрывается через соединение внешней простоты мелодии с внутренней эмоциональной концентрацией. Образ розы не превращается в декоративную метафору, а становится носителем тонкого лирического состояния. Вокальная партия строится так, чтобы сохранить естественность фразировки и не разрушить поэтическую интонацию текста. Фортепианное сопровождение выполняет не только аккомпанирующую функцию – оно создает камерную атмосферу, усиливает эмоциональные оттенки и вводит песню в пространство европейской художественной традиции. Однако общий тип мелодического мышления остается связанным с китайской лиричностью, сдержанностью и вниманием к смыслу слова.

В «Тоске по дому» еще сильнее отражается тема культурной памяти. Это произведение важно не только как образец китайской art song, но и как модель национально окрашенного лиризма. Тоска по родине здесь выражается не через прямую патетику, а через внутреннее напряжение между личным переживанием и коллективно узнаваемым образом дома. Именно в этой точке индивидуальный стиль Хуан Цзы приобретает культурное значение – личная эмоция становится формой национальной интонации. Такой тип вокального высказывания оказал влияние на дальнейшее развитие китайской художественной песни, показав, что современная композиционная техника может служить не европеизации китайской музыки, а более точному раскрытию ее собственной эмоциональной природы.

Анализ творчества Хуан Цзы позволяет уточнить само понятие индивидуального творческого стиля. В китайской вокальной музыке XX в. индивидуальность композитора часто проявлялась не в радикальном разрыве с традицией, а в особом способе ее художественной переработки. Хуан Цзы не копировал западную песенную модель и не воспроизводил народную интонацию в неизменном виде. Его стиль возник на пересечении двух систем: китайской поэтической мелодики и западной камерно-гармонической организации. Именно это пересечение стало одной из главных основ китайской вокальной модерности.

Вокально-хоровая модель Сиань Синхая и героико-патриотический стиль. Если Чжао Юаньжэнь и Хуан Цзы представляют камерно-лирическую линию китайской вокальной музыки,

то творчество Сиань Синхая (1905–1945) демонстрирует принципиально иной тип индивидуального стиля – массово-драматический и героико-патриотический. Созданная в 1939 г. на текст поэта Гуан Вэйжаня «Кантата о Желтой реке» (黄河大合唱) стала одним из ключевых произведений китайской музыкальной культуры XX в. В ней вокальное начало связано не с интимным лирическим переживанием, а с образами народа, исторического испытания и национального сопротивления.

Значение этой модели заключается в том, что индивидуальный стиль композитора формировался в условиях японо-китайской войны 1937–1945 гг., масштабного национального кризиса и подъема антияпонского движения. Созданная в Яньани в период борьбы против японской агрессии, кантата была непосредственно связана с задачами общественной мобилизации, укрепления национального единства и выражения коллективной воли к сопротивлению. Вокальная музыка здесь становится не только художественной формой, но и средством эмоционального объединения общества и символического воплощения национального духа. В этом смысле творчество Сиань Синхая показывает, что индивидуальный стиль может иметь не только камерно-психологическую, но и общественно-историческую направленность, выражая опыт коллективного субъекта истории.

«Кантата о Желтой реке» соединяет несколько уровней выразительности. С одной стороны, произведение использует западную жанровую модель кантаты, опирающуюся на масштабную форму, хоровые эпизоды, контрасты сольных и ансамблевых разделов, драматическую организацию материала. С другой стороны, музыкальный язык произведения связан с китайской народной интонацией, речитативностью, песенной энергией и образностью реки как национального символа. Именно это соединение позволяет говорить не о простом заимствовании западной формы, а о ее переосмыслении в китайском историко-культурном контексте [9].

В вокальном отношении «Кантата о Желтой реке» принципиально отличается от камерной песни Хуан Цзы. Здесь важна не утонченная лирическая нюансировка, а энергия коллективного звучания, ритмическая собранность, декламационная ясность, драматическое нарастание и способность голоса выражать не частное чувство, а историческую волю. Тем не менее это не отменяет индивидуальности композиторского стиля. Напротив, индивидуальность Сиань Синхая проявляется в умении превратить массовую песенно-хоровую форму в художественно организованное произведение, где народная интонация получает монументальное звучание.

Эта модель особенно важна для понимания китайской вокальной музыки XX в., поскольку она показывает, что индивидуальный стиль не всегда совпадает с камерной субъективностью. В европейской романтической традиции индивидуальность часто связывается с внутренним миром автора или исполнителя. В китайской музыкальной культуре XX в. индивидуальность могла выражаться также через способность артиста или композитора найти голос исторической эпохи. Сиань Синхай создал такой тип вокального высказывания, в котором личная композиторская манера стала формой национального звучания.

Новая китайская опера и исполнительская индивидуальность: «Седая девушка» и Го Ланьин. Следующий важный этап становления индивидуального вокального стиля связан с развитием новой китайской оперы. Особое место в этом процессе заняла созданная в 1945 г. коллективом Академии искусств имени Лу Синя в Яньани опера «Седая девушка» (白毛女). Авторами либретто выступили Хэ Цзинчжи и Дин И; музыку написали Ма Кэ, Чжан Лу, Цюй Вэй, Ли Хуаньчжи, Сян Юй, Чэнь Цзы и Лю Чи, а сводную партитуру подготовил Цюй Вэй.

Коллективный характер создания оперы отражал стремление сформировать новый национальный музыкально-сценический язык, соответствовавший историческим и общественным задачам эпохи. Музыкальная драматургия произведения объединила интонации народных песен Северного Китая, элементы регионального музыкального театра и традиционной оперы, опыт нового движения янге, а также отдельные композиционные и драматургические принципы европейского оперного искусства. Благодаря этому, «Седая девушка» стала одной из первых целостных моделей китайской национальной оперы, в которой народная музыкальная основа получила профессиональное сценическое воплощение.

Этот пример показывает, как китайская вокальная музыка вышла за пределы камерной песни и вокально-хоровой кантаты, сформировав особый сценический язык. При этом опера представляет в статье не индивидуальный стиль одного композитора, а историко-художественную среду, в которой получила развитие исполнительская индивидуальность оперной певицы Го Ланьин.

«Седая девушка» важна потому, что в ней вокальный стиль становится средством создания социально и эмоционально узнаваемого образа. Здесь голос не существует отдельно от драматической ситуации, жеста, сценического поведения и коллективного исторического смысла. В отличие от европейской оперы, где вокальная партия часто строится на развитой арии, сложной оркестровой драматургии и индивидуальной психологической характеристике персонажа, новая китайская опера активно использовала народно-песенную основу, речевую интонацию и доступность музыкального материала. Это не означало упрощения художественного языка. Напротив, задача заключалась в создании такого вокального стиля, который был бы одновременно сценически выразительным, национально узнаваемым и понятным широкой аудитории [10].

Именно в этом контексте особое значение приобретает исполнительское искусство Го Ланьин (род. 1930). Ее творчество можно рассматривать как один из ярких примеров национально-сценической модели индивидуального вокального стиля. Ее вокальная манера соединяет народно-песенную естественность, ясную дикцию, выразительное произношение текста, сценическую конкретность образа и эмоциональную открытость. Такой тип пения оказался чрезвычайно востребованным в китайской культуре середины XX в., поскольку позволял создать образ певца как носителя народного чувства.

Индивидуальность Го Ланьин проявлялась не в демонстративной виртуозности, а в способности сделать вокальное исполнение выразителем коллективного переживания. В песнях

патриотического и народного характера ее голос воспринимался как голос определенной культурной общности. Это принципиально отличает китайскую национальную исполнительскую модель от западного представления о певце-звезде, где индивидуальность часто связывается с уникальностью тембра, артистическим образом и личной сценической харизмой. В китайском контексте индивидуальная манера могла цениться именно потому, что через нее становился слышимым коллективный образ народа, родины, исторической памяти.

Опера «Седая девушка» и исполнительская модель Го Ланьин показывают, что китайский вокальный стиль XX в. развивался не только по линии академизации, но и по линии сценической национализации. Здесь важна не столько чистота заимствованной техники, сколько способность соединить голос с культурным образом. Поэтому индивидуальный стиль китайского исполнителя формировался через особую систему критериев: ясность слова, эмоциональная достоверность, национальная интонация, связь с народно-оперной традицией, сценическая убедительность и общественная значимость образа.

Чжоу Сяоянь и педагогическая институционализация индивидуального вокального стиля. Если композиторы и исполнители создавали художественные модели индивидуального стиля, то педагоги формировали условия его воспроизводства и развития. В этом отношении ключевой фигурой является Чжоу Сяоянь (1917–2016), чья вокально-педагогическая деятельность сыграла значительную роль в адаптации европейской академической вокальной школы к китайской образовательной, языковой и художественной среде. Ее значение заключается не только в распространении техники бельканто, но и в создании подхода, при котором западная вокальная школа осмыслялась через задачи китайского вокального искусства [11].

Педагогическая проблема состояла в том, что европейская вокальная техника не могла быть механически перенесена на китайский материал. Китайский певец сталкивался с необходимостью сохранять тоновую и смысловую определенность языка, не разрушая при этом вокальную линию. Слишком прямое следование европейскому принципу выравнивания гласных могло привести к потере словесной ясности. Чрезмерное сохранение речевой артикуляции, напротив, могло ограничить кантилену, резонанс и свободу звукообразования. Поэтому педагогическая система должна была искать баланс между вокальной технологией и национальной речевой природой.

Чжоу Сяоянь выстроила подход, в котором дыхание, опора, резонанс, тембровая культура и фразировка рассматривались не как самоцель, а как средства художественного выражения. Важной частью этого подхода стало соединение звука, смысла и эмоционального состояния. Такой принцип особенно значим для китайской вокальной культуры, где слово «традиционно» обладает не только семантической, но и интонационно-энергетической функцией. Вокалист должен не просто красиво спеть текст, а раскрыть его внутреннее движение, культурный подтекст и образную структуру.

В этом контексте особую роль приобретает взаимодействие певца и концертмейстера. В китайской образовательной практике

оно становится не техническим сопровождением, а важным элементом формирования исполнительской интерпретации. Певец учится слышать гармоническую опору, фортепианную фактуру, дыхание фразы, драматургию пауз и смысловые акценты, возникающие между вокальной и инструментальной партиями [12]. Это особенно важно для китайской художественной песни, где фортепиано часто выполняет функцию посредника между европейской камерной традицией и китайской поэтической образностью.

Педагогическая модель Чжоу Сяоянь показывает, что индивидуальный стиль не является врожденной характеристикой певца. Он формируется в процессе обучения, где техника, слух, мышление, культурная память и эмоциональная выразительность постепенно складываются в единую исполнительскую систему. В этом смысле вокальное образование не только дисциплинирует голос, но и создает пространство для индивидуализации. Однако такая индивидуализация возможна лишь при условии, что педагогическая система не сводит певца к стандарту, а помогает ему найти собственный способ соединения техники и смысла.

В более широком плане развитие музыкального образования Китая в XX–XXI вв. показывает переход от модели усвоения внешних образцов к модели диалога и творческой переработки [13]. Это особенно заметно в вокальной сфере. Если ранний этап был связан с освоением западной академической техники, то зрелый период потребовал ответа на более сложный вопрос: каким образом эта техника может служить китайскому художественному содержанию. Именно здесь индивидуальный стиль становится не отклонением от школы, а ее высшим результатом.

Цюй Сяосун и поздняя модель композиторского индивидуализма. Во второй половине XX в. и на рубеже XX–XXI вв. китайская вокальная музыка вступает в новую фазу, связанную с расширением стилевого пространства, усилением авторского экспериментализма и более свободным отношением к традиционному материалу. Одним из показательных примеров является творчество китайского композитора Цюй Сяосуна (род. 1952). Его вокальные сочинения демонстрируют стремление соединить местные оперные элементы, этнические интонации, современную композиционную технику и особую работу с речитативно-звуковым материалом [14].

В отличие от Хуан Цзы, который создавал синтез в рамках камерной лирической песни, Цюй Сяосун работает с более сложной и фрагментированной музыкальной средой. Его стиль связан не только с мелодической красотой, но и с исследованием звучащего слова, тембровой напряженности, ритмической свободы и культурных пластов. В его произведениях традиция часто не цитируется напрямую, а присутствует как глубинный интонационный слой. Это свидетельствует о переходе китайской вокальной музыки от модели национального представительства к модели индивидуального художественного исследования.

Такой тип композиторского мышления особенно важен для понимания позднего этапа развития китайского вокального искусства. Здесь индивидуальность уже не нуждается в обязательном доказательстве национальной принадлежности через очевидные фольклорные признаки. Национальное может проявляться

более тонко: через фонетику, дыхание фразы, тембровые ассоциации, драматургию звучания, отношение к тишине, к слову и к музыкальному времени. Это означает, что китайская вокальная музыка постепенно выходит за пределы схемы «Восток – Запад» и начинает существовать как самостоятельное пространство авторских решений.

При этом связь с традицией не исчезает. Напротив, она становится более сложной. Если в первой половине XX в. традиция часто воспринималась как материал, который необходимо модернизировать, то во второй половине века она все чаще рассматривается как открытая система смыслов, допускающая деконструкцию, реинтерпретацию и индивидуальное прочтение. В связи с этим творчество Цюй Сяосуна можно рассматривать как пример зрелой стадии индивидуализации китайского вокального стиля, когда композитор уже не просто соединяет разные системы, а свободно организует их внутри собственного художественного языка.

Национально-академический вокальный стиль на рубеже XX–XXI вв. Эпоха реформ и открытости существенно изменила условия развития китайской вокальной музыки. Расширение международных контактов, распространение медиа, активное развитие концертной инфраструктуры, появление новых образовательных программ и рост интереса к национальному культурному наследию создали пространство для большего разнообразия форм вокальной индивидуальности [15]. Китайский певец постепенно оказался включен в несколько аудиторных контекстов: национальную сцену, академическую образовательную систему, массовую медиакультуру и международное культурное представительство.

На этом этапе особенно заметной становится национально-академическая исполнительская модель. Она представлена в творчестве таких певиц, как Пэн Лиюань (род. 1962) и Сун Цзуин (род. 1966), чье исполнительское искусство демонстрирует соединение народно-песенной основы, профессиональной академической техники, сценической выразительности и функции культурного представительства Китая. В их манере важна не только вокальная точность, но и создание узнаваемого национального звучания, рассчитанного как на китайскую, так и на международную аудиторию.

Эта модель отличается от ранней народно-сценической традиции тем, что она формируется уже в условиях развитой системы профессионального образования и медиапространства. Голос певца становится частью более сложного художественного образа, включающего костюм, сценическую пластику, оркестровую обработку, телевизионную трансляцию, концертную режиссуру и культурно-дипломатическую функцию. Индивидуальный стиль в таких условиях не исчезает, а приобретает новую структуру. Он складывается из вокальной техники, национальной интонации, сценического имиджа, репертуарной политики и способности представлять китайскую культуру в глобальном пространстве [16].

Особое значение здесь имеет проблема культурной идентичности. Китайский вокалист конца XX в. уже не находится в ситуации простого выбора между традицией и Западом. Он существует

в пространстве множественных влияний, где западная техника давно стала частью профессиональной нормы, а национальная традиция требует не сохранения в неизменном виде, а художественно убедительного современного воплощения. Поэтому индивидуальный стиль становится способом культурной навигации. Певец должен показать не только владение техникой, но и способность выстроить собственную позицию по отношению к языку, традиции, сцене и аудитории [17].

В этом отношении показательна общая логика развития современного китайского музыкального искусства – от заимствований к диалогу. На ранних этапах модернизации западная музыка часто воспринималась как источник профессиональных норм и технических образцов. Позднее китайские музыканты все активнее стали переходить к диалогической модели, в которой заимствованный материал перерабатывается, переосмысляется и включается в национальную художественную систему [18]. Для вокального искусства это означает, что бельканто, гармоническое мышление, концертная форма и медиатехнологии становятся не признаками культурной зависимости, а инструментами расширения китайской выразительности.

Индивидуальный стиль как форма культурной идентичности. На протяжении XX в. китайская вокальная музыка прошла путь от локальных традиционных форм к сложной системе профессионального, сценического и медиального существования. Однако главным результатом этого процесса стали не просто модернизация техники и расширение жанрового состава. Более существенным оказалось формирование нового понимания индивидуального стиля. В китайском контексте он выступает как форма культурной идентичности, в которой личная манера композитора или исполнителя соединяется с историческим опытом, национальной интонацией и художественными задачами эпохи.

Индивидуальный стиль Чжао Юаньжэня раскрывается через работу с современным китайским словом и камерной лирической интонацией. Хуан Цзы создает модель китайской художественной песни, где западная гармоническая техника служит выражению национальной поэтической образности. Сиань Синхай формирует героико-патриотическую вокально-хоровую модель, в которой голос народа становится музыкальным образом истории. «Седая девушка» и исполнительская традиция Го Ланьин показывают сценическую форму национального вокального стиля, ориентированную на драматическую выразительность, социальную понятность и народную интонацию. Чжоу Сяоянь институционализирует проблему индивидуального стиля в педагогике, адаптируя европейскую вокальную технику к китайской языковой и эстетической среде. Цюй Сяосун демонстрирует позднюю авторскую модель, в которой традиция уже не просто сохраняется, а становится материалом глубокого художественного эксперимента.

Эти примеры показывают, что индивидуальный стиль в китайской вокальной музыке XX в. не имеет единой формулы. Он может быть лирическим, патриотическим, сценическим, педагогическим, экспериментальным или национально-репрезентативным. Но во всех случаях он строится вокруг одной общей проблемы: как выразить современное художественное сознание, не утратив связи с китайской культурной основой.

Важную роль в этом процессе сыграли образовательные институты. Именно они создали условия для профессионализации вокального искусства, освоения западной техники, формирования концертной культуры и подготовки исполнителей нового типа [19]. Однако образование не могло заменить индивидуального художественного поиска. Более того, слишком жесткая стандартизация могла ограничивать развитие личной манеры. Поэтому зрелая китайская вокальная школа должна была прийти к пониманию, что индивидуальный стиль является не нарушением нормы, а результатом высокого уровня профессионального и культурного освоения материала [20].

Медиаизменения конца XX – начала XXI в. добавили к этой проблеме новый аспект. Звукозапись, радио, телевидение, цифровые платформы и позднее – алгоритмические технологии изменили способы распространения вокальной музыки и восприятия певческого образа. Голос стал существовать не только в концертном зале, но и в медиапространстве, где индивидуальность артиста конструируется через тембр, визуальный образ, репертуар, коммуникацию с аудиторией и технологическую обработку звучания [21]. Это усложнило понятие вокального стиля: он перестал быть исключительно акустическим явлением и стал частью широкой культурной репрезентации.

В то же время цифровая эпоха не отменяет базовых закономерностей, сформировавшихся в XX в. Китайский вокальный стиль по-прежнему определяется отношением к языку, традиции, телесной технике голоса, художественному смыслу и культурной памяти. Даже в условиях искусственного интеллекта и новых технологий индивидуальность не может быть сведена к внешнему эффекту или технической уникальности. Она сохраняет ценность только тогда, когда за ней стоит осознанная художественная позиция [22].

Становление индивидуального творческого стиля в китайской вокальной музыке XX в. представляет собой сложный и многоуровневый процесс. Его нельзя объяснить только влиянием Запада, развитием музыкального образования или сохранением национальной традиции. Все эти факторы действовали одновременно, вступая в напряженное, но продуктивное взаимодействие.

Китайская художественная песня стала первым важным пространством композиторской индивидуализации. В творчестве Чжао Юаньжэня и Хуан Цзы сложилась модель, в которой китайская речевая интонация, поэтическая образность и западная камерная форма образовали новый тип вокального высказывания. Вокально-хоровое творчество Сиань Синхая показало другую модель индивидуального стиля – героико-патриотическую, связанную с историческим образом народа и коллективным эмоциональным подъемом. Новая китайская опера, особенно «Седая девушка», а также исполнительская традиция Го Ланьин раскрыли сценическую форму национального вокального стиля, основанную на соединении народной манеры, драматического образа и общественной значимости. Педагогическая деятельность Чжоу Сяоянь закрепила проблему индивидуальности на уровне вокальной школы, где западная техника была адаптирована к китайскому языку и национальной эстетике. Поздние композиторские и исполнительские практики, включая творчество Цюй Сяосуна и национально-академическую сценическую модель рубежа XX–XXI вв., показали переход китайского вокального искусства от заимствования к диалогу и самостоятельному художественному синтезу.

Индивидуальный стиль в китайской вокальной музыке XX в. следует понимать не как внешнюю оригинальность или сумму технических приемов. Он является способом культурного самоопределения, в котором голос становится носителем языка, памяти, исторического опыта и личной художественной позиции. Именно поэтому китайская вокальная музыка XX в. представляет собой не периферийную форму усвоения западных образцов, а самостоятельную область художественного творчества, где национальная традиция и мировая музыкальная культура вступили в продуктивное взаимодействие.

Примечания

1. ЯН ИНЬЛЮЙ. Очерк истории древней китайской музыки (杨荫浏. 中国古代音乐史稿). Пекин. 1981, с. 215.
2. ЧЖАН ЦЯНЬ. История китайского музыкального образования в новейшее время (张前. 中国近现代音乐教育史论). Пекин. 2003, с. 84.
3. ЧЖОУ ИНЬЧЭНЬ. Эволюция системы вокального образования в Китае и ее особенности (周映辰. 中国声乐教育体制的演变及其特点). — Музыкальные исследования. 2015. № 4, с. 47.
4. СУНЬ СЮЛАНЬ. Китайское вокальное искусство в контексте культурной идентичности (孙秀兰. 文化身份视域下的中国声乐艺术). — Теория и критика литературы и искусства. 2020. № 1, с. 14.
5. ЛИ ЛИНЬСУН. Становление системы общего и профессионального музыкального образования в Китае в XX–XXI вв. В кн.: Музыкальное и художественное образование в современном мире: традиции и инновации: М-лы VI Междунар. науч.-практ. конф. (г. Таганрог, 23 марта 2023 г.) / Отв. ред. Т.В. Надолинская. Ростов н/Д—Таганрог. 2023, с. 390. EDN: LXHYJR.
6. СЮЙ ФЭЙ. Влияние западной вокальной системы на современное вокальное образование в Китае (许斐. 西方声乐体系对中国现代声乐教育的影响). — Музыкальное искусство. 2017. № 3, с. 29.
7. ЛЮ ИН. Пути развития китайского вокального искусства после реформ и открытости (刘颖. 改革开放以来中国声乐艺术的发展路径). — Китайское музыковедение. 2020. № 2, с. 34.
8. ВАН ЦЫХЭН. Система композиции художественных песен Хуан Цзы в современном Китае (王次恒. 黄自与中国近代艺术歌曲的创作体系). — Там же. 2014. № 1, с. 51.
9. ИНЬ ЧЭНЦЗУН. Развитие китайского вокального искусства в межкультурной перспективе (殷承宗. 跨文化视野中的中国声乐发展). — Китайская музыка. 2019. № 6, с. 17.
10. ВЭЙ ТИНГЭ. Традиционные элементы и современное сознание в национальной вокальной композиции (魏廷格. 民族声乐创作中的传统元素与现代意识). — Музыкальные исследования. 2016. № 3, с. 39.
11. ЛИ ВЭНЬБИНЬ. Исследование вокальной педагогической мысли Чжоу Сяоянь (李文斌. 周小燕声乐教学思想研究). — Там же. 2018. № 2, с. 61.
12. ЛИ ЛИНЬСУН. Особенности взаимодействия певца и концертмейстера в китайской образовательной практике. — Bulletin of Art and Education. 2025. No. 8, p. 227. EDN: JQSRVM.
13. Там же, с. 393.
14. ЧЭНЬ ДАНЬЦИН. Анализ эволюции стиля вокальной композиции Цюй Сяосуна (陈丹青. 瞿小松声乐创作的风格演化分析). — Теория композиции. 2021. № 4, с. 72.
15. ЛЮ ИН. Ук. соч., с. 36.
16. ГО ЧЖИХУН. Трансформация китайского вокального стиля в эпоху медиаперемен (郭志鸿. 媒介变革中的中国声乐传播与风格转型). — Искусство и технологии. 2021. № 2, с. 47.
17. СУНЬ СЮЛАНЬ. Ук. соч., с. 16.
18. ЛИ ЛИНЬСУН. Особенности развития современного китайского музыкального искусства: от заимствований к диалогу. — Bulletin of the International Centre of Art and Education. 2025. No. 1, p. 54. EDN: ERTKOI.
19. ЧЖОУ ИНЬЧЭНЬ. Ук. соч., с. 49.
20. ЛО ЮНЬ. Исследование путей индивидуального развития в вокальном образовании (罗芸. 声乐教育中的个性化培养路径研究). — Музыкальное образование в Китае. 2021. № 5, с. 22.
21. ГО ЧЖИХУН. Ук. соч., с. 48.
22. ДИН ИЧЭНЬ. Эволюция индивидуального стиля музыкального творчества в эпоху искусственного интеллекта (丁-晨. 人工智能时代的音乐创作与个体风格演化). — Музыкальная коммуникация. 2022. № 3, с. 57.

Contents

Articles: **N.A. Kormin.** I. Kant: the global significance of aesthetics; **P.A. Iskenderov.** Albania in the second half of the 1980s: the timid beginning of transformations. Diplomacy in History: **A.V. Lubkov, M.V. Novikov.** Signing of the Soviet-Chinese trade agreement (June 16, 1939). Discussion Problems: **A.W. Khrenkov.** The Battle of Adwa and the Russian Red Cross in Ethiopia in 1896: little-known details. People. Events. Facts: **E.E. Yudin.** The land holdings of the richest Russian aristocrats in 1890–1914: area, location and dynamics. Foreign Colleagues Tell: **N. Jeychandran.** Transits of objects and people: traces of histories that connect the Africana Atlantic and Indian Ocean worlds; **I. Jakubec, J. Štemberk.** Transformations of railway station services as exemplified by station restaurants; **M. Diawara.** Reconstructing the future: taking ownership of copyright in Africa. Cultural News: **Zhao Xiaolin.** Formation of individual creative style in Chinese vocal music of the 20th century.

Учредитель: Искендеров Пётр Ахмедович

Журнал зарегистрирован в Комитете РФ по печати 11 сентября 1996 г.
Регистрационный номер № 894

Главный редактор П.А. ИСКЕНДЕРОВ

Редакционная коллегия:
М.Ц. Арзаканян, Г.А. Гребенщикова, В.Г. Кикнадзе, М.А. Лагода,
Е.А. Мельникова, З.И. Перегудова

Над выпуском работали:
П.А. Искендеров, К.А. Пахомова, А.И. Петрушина

Перепечатка допускается по соглашению с редакцией,
ссылка на «Вопросы истории» обязательна
Присланные материалы после рецензирования не возвращаются
Редакция не имеет возможности вступать в переписку
Редакция не несет ответственности за достоверность публикуемых авторами сведений
Мнение редакции может не совпадать с позицией авторов опубликованных материалов

«Вопросы истории» № 8, 2026
Адрес: Журнал «Вопросы истории»
Селезнёвская улица, дом 11А, строение 2, 7-й этаж, офис 14, Москва, 127473.
Телефоны: (499) 973-32-75, (499) 973-36-95. E-mail: 095history@mail.ru
Сайт: https://voprosy-istorii.ru
Оригинал-макет номера подготовлен в редакции
Подписано в печать 18.08.2026. Формат 70x108 1/16.
Бумага газетная. Гарнитура Таймс. Печать офсетная.
Усл. печ. л. 14,0. Уч-изд. л. 16,36. Тираж 280. Заказ 3923–2026. Индекс 70145.
Цена свободная.
ООО Журнал «Вопросы истории»

Отпечатано в АО «Красная Звезда».
125284, Москва, Хорошевское шоссе, 38.

Тел.: (495) 941-32-09,
(495) 941-34-72,
(495) 941-31-62
E-mail: kr_zvezda@mail.ru
http://www.redstarprint.ru